

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Считаю своим долгом записать все сколько-нибудь важное и интересное, что сохранила мне память о Федоре Михайловиче Достоевском. Я был довольно долгое время очень близок к нему, особенно когда работал в журналах, которых он был руководителем. Поэтому от меня больше всего можно требовать и ожидать изложения его мнений и настроений во время этой его публичной деятельности. Близость наша была так велика, что я имел полную возможность знать его мысли и чувства, и я постараюсь изложить их, как умею, насколько помню и насколько успел понять. Судьбу этих журналов, историю их превратностей едва ли кто другой может теперь рассказать с такою полнотою, как я; а эта история имела важное значение в жизни Федора Михайловича и составляет важную сторону его писательства. Постараюсь также со всею искренностью и точностью указать его личные свойства и отношения, какие мне довелось узнать. Но главным моим предметом будет все же литературная деятельность нашего писателя. В истории литературы он останется памятным не только как художник, как автор романов, но и как журналист; и всего удобнее мне начать свои воспоминания именно с указания на его журналистику.

I. ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

Журнальная деятельность Федора Михайловича, если взять все вместе, имеет очень значительный объем. Он питал к этого рода деятельности величайшее расположение, и последние строки, им написанные, были статьи последнего номера его "Дневника".

Издания, в которых он являлся как журналист, то есть как редактор, публицист и критик, были следующие:

- 1) "Время", ежемесячный толстый журнал, издававшийся под редакциею брата Федора Михайловича, Михайла Михайловича Достоевского, с января 1861 по апрель 1863 (включительно).
- 2) "Эпоха", такой же журнал, выходивший с начала 1864 года по февраль 1865 (включительно), сперва под редакциею того же Михайла Михайловича Достоевского, а с июня 1864 года, после его смерти, под редакциею А. У. Порецкого (ныне уже покойника).
- 3) "Гражданин", издание, основанное в 1872 году князем В. П. Мещерским, еженедельная газета. Редактором ее в первый год был Г. К. Градовский, а в следующий, 1873, — Федор Михайлович. Здесь Федор Михайлович начал писать фельетоны под заглавием "Дневник писателя"; это был зачаток следующего издания.
- 4) "Дневник писателя". Ежемесячное издание. Выходил в 1876 и 1877 годах. И 1880 году вышел один номер за август; в 1881 вышел январский номер уже по смерти своего редактора.

Дух и направление этих журналов составляют совершенно особую полосу в петербургской журналистике, отличающейся, как известно, большою однородностию в своих стремлениях, вероятно, вследствие однородности тех условий, среди которых она развивается. Деятельность Федора Михайловича шла вразрез с этим общим петербургским настроением, и преимущественно он, силою таланта и жаром проповеди, дал значительный успех другому настроению, более широкому, — русскому, а не петербургскому.

Попытаюсь последовательно указать ход этого дела. Мое знакомство с Федором Михайловичем началось именно на журнальном поприще, притом еще раньше, чем стало выходить "Время". В конце 1859 года было объявлено об издании в следующем году нового ежемесячного журнала "Светоч", под редакцию Д. И. Калиновского. Главным сотрудником в этом журнале был А. П. Милуков, в то время мой сослуживец по одному из учебных заведений. Я предложил ему для первого же номера свою статью, первую большую статью, с которой я выступал на петербургское журнальное поприще. К великой радости, статья была одобрена, и Александр Петрович пригласил меня в свой литературный кружок, на свои вторники, в Офицерской улице, в доме Якобса. С первого вторника, когда я явился в этот кружок, я считал себя как будто принятым, наконец, в общество настоящих литераторов и очень всем интересовался. Главными гостями Александра Петровича оказались братья Достоевские, Федор Михайлович и Михаил Михайлович, давнишние друзья хозяина и очень привязанные друг к другу, так что бывали обыкновенно вместе. Кроме их, часто являлись А. Н. Майков, Вс. Вл. Крестовский, Д. Д. Минаев, доктор С. Д. Яновский, А. А. Чумиков, Вл. Д. Яковлев и другие. Первое место в кружке занимал, конечно, Федор Михайлович: он был у всех на счету крупного писателя и первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которою их высказывал. Кружок был невелик, и члены его были очень близки между собою, так что стеснения, столь обыкновенного во всех русских обществах, не было и следа. Но и тогда была заметна обыкновенная манера разговора Федора Михайловича. Он часто говорил с своим собеседником вполголоса, почти шепотом, пока что-нибудь его особенно не возбуждало; тогда он воодушевлялся и круто возвышал голос. Впрочем, в то время его можно было назвать довольно веселым в обыкновенном настроении; в нем было еще очень много мягкости, изменявшей ему в последние годы, после всех понесенных им трудов и волнений. Наружность его я живо помню; он носил тогда одни усы и, несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица. Помню также, как я в первый раз увидел, почти мельком, его первую жену, Марию Дмитриевну; она произвела на меня очень приятное впечатление бледностию и нежными чертами своего лица, хотя эти черты были неправильны и мелки; видно было и расположение к болезни, которая свела ее в могилу.

Разговоры в кружке занимали меня чрезвычайно. Это была новая школа, которую мне довелось пройти, школа, во многом расхоронившаяся с теми мнениями и вкусами, которые у меня сложились. До того времени я жил тоже в кружке, но в своем, не публичном и литературном, а совершенно частном. Таких кружков всегда существует очень много в Петербурге, кружков часто любознательных, читающих, вырабатывающих себе свои особенные пристрастия и отвращения, но иногда вовсе не стремящихся к публичности.

Мое знакомство этого рода состояло из людей моложе меня возрастом; назову из живых Д. В. Аверкиева, из покойных М. П. Покровского, Н. Н. Воскобойникова, В. И. Ильина, И. Г. Долгомостьева, Ф. И. Дозе. (1) Тут господствовало большое поклонение науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке; настроение было очень серьезное и хорошее. И тут сложились взгляды, с которыми я вступил в чисто литературный кружок.

В то время я занимался зоологию и философию и потому, разумеется, прилежно сидел за немцами и в них видел вождей просвещения. У литераторов оказалось другое; все они очень усердно читали французов и были равнодушны к немцам. Всем известно было, что М. М. Достоевский составляет исключение, владея немецким языком так, чтобы читать на нем и делать переводы. Федор же Михайлович хотя, конечно, учился этому языку, но, как и другие, совершенно его забросил и до конца жизни читал только по-французски. В ссылке он, как видно, предполагал взяться за серьезные занятия и просил брата выслать

ему историю философии Гегеля в подлиннике; но книга осталась нечитаной, и он подарил ее мне вскоре после первого знакомства.

Естественно, что и направление кружка сложилось под влиянием французской литературы. Политические и социальные вопросы были тут на первом плане и поглощали чисто художественные интересы. Художник, по этому взгляду, должен следить за развитием общества и приводить к сознанию нарождающееся в нем добро и зло, быть поэтому наставником, обличителем, руководителем; таким образом, почти прямо заявлялось, что вечные и общие интересы должны быть подчинены временным и частным. Этим публицистическим направлением Федор Михайлович был вполне проникнут и сохранял его до конца жизни.

Дело художественных писателей полагалось главным образом в том, чтобы наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкие и жалкие, и показывать, как они сложились под влиянием среды, под влиянием окружающих обстоятельств. У литераторов было в привычке заходить при случае в самые грязные и низкие места, вступать в приятельские разговоры с людьми, которыми гнушается купец и чиновник, и сострадательно смотреть на самые дикие явления. Разговор в кружке беспрестанно попадал на тему различных типов такого рода, и множество остроумия и наблюдательности было обнаруживаемо в этих физиологических соображениях. На первых порах меня очень удивляло, когда суждения о человеческих свойствах и действиях произносились не с высоты нравственных требований, не по мерилу разумности, благородства, красоты, а с точки зрения неизбежной власти различных влияний и неизбежной податливости человеческой природы. Особенное настроение мыслей Федора Михайловича, стоящее выше этой физиологии, открылось мне ясно только впоследствии, и сначала я не замечал его в общем потоке новых для меня взглядов.

Очевидно, это направление мыслей сложилось под влиянием французской литературы, было одно из направлений сороковых годов, тех плодотворных годов, когда Европа, кипевшая особенно сильно духовною жизнью, производила на нас, русских, большое влияние и посеяла у нас семена, которые долго потом развивались. Впоследствии мне стал понятен и часто удивлял меня этот процесс отставания от Европы, беспрестанно у нас повторяющийся. После 1848 года на Западе совершился перелом настроения: радостные надежды потускли, нравственный уровень опустился, обнаружилась страшная болезнь и стали господствовать тоска и пессимизм. Чуткий Герцен, видевший эту историю своими глазами, высказывал безвыходное отчаяние. Между тем в России ничего этого не было заметно; едва ли было когда у нас в литературе такое радостное и оживленное настроение, как с 1856 по 1862 год, до петербургских пожаров; мы нимало и ни в чем не были разочарованы, и каждый спокойно отдавался любимым мыслям, проповедуя то, что уже потеряло вес или получило уже новый смысл в Европе. Что касается до меня, то я в литературном отношении тоже принадлежал к одному из направлений сороковых годов, но еще более старому, чем литературный кружок, о котором идет речь, к тому направлению, для которого верхом образования было понимать Гегеля и знать Гете наизусть. Поэтому, и по другим причинам разногласия, настроение кружка резко бросилось мне в глаза.

В основании этого настроения, конечно, лежало прекрасное чувство, гуманность, сострадание к людям, попавшим в трудное положение, и прощение им их слабости. В самом деле, легко провиниться в некоторой жестокости, когда мы указываем ближним неисполненные требования, — даже если это нравственные требования. Поэтому литературный кружок, в который я вступил, был для меня во многих отношениях школою гуманности. Но другая черта, поразившая меня здесь, представляла гораздо большую

неправильность. С удивлением замечал я, что тут не придавалось никакой важности всякого рода физическим излишествам и отступлениям от нормального порядка. Люди, чрезвычайно чуткие в нравственном отношении, питавшие самый возвышенный образ мыслей и даже большею частью сами чуждые какой-нибудь физической распущенности, смотрели, однако, совершенно спокойно на все беспорядки этого рода, говорили об них как о забавных пустяках, которым предаваться вполне позволительно в свободную минуту. Безобразия духовные судились тонко и строго; безобразия плотские не ставилось ни во что. Эта странная эманципация плоти действовала соблазнительно и в некоторых случаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспомнить. Из числа людей, с которыми пришлось мне сойтись на литературном поприще, особенно в шестидесятых годах, некоторые на моих глазах умирали или сходили с ума от этих физических грехов, которыми они так пренебрегали. И погибали вовсе не худшие, а часто те, у кого было слабо себялюбие и жизнелюбие, кто не расположен был слишком бережно обходиться с собственной особой. О некоторых случаях этого рода, может быть, придется мне далее говорить. Но придется, конечно, умолчать о многих других бедах, порожденных вредным учением, бедах не довольно страшных для печати, но в сущности иногда не уступающих смерти и сумасшествию.

Что касается взглядов на искусство, на задачи художников, то тогда, в начале моего знакомства с литературным миром, меня не могло не удивлять господство узкой теории, требовавшей служения современной минуте. Сам я держался обыкновенной немецкой теории свободы художника, той теории, которая сложилась в немецкой философии, проникла к нам еще при жизни Пушкина и которой много обязана наша литература. Люди с художественным талантом, под влиянием этого эстетического учения, берегли и холили свой талант, давая ему простор, и потому привыкали к искренности, правдивости, к широкому, беспристрастному взгляду на предметы. Итак, я не без удивления и не без противоречия слушал разговоры о современном значении различных литературных явлений и об усилиях уловить последнюю и новейшую черту в общественной жизни. Федор Михайлович был также чрезвычайно этим занят; из его литературной деятельности уже видно, как он был предан такому служебному направлению. Эта деятельность ясно распадается на два отдела: первый, от "Бедных людей" до "Преступления и наказания", ясно носит на себе влияние Гоголя — по кругу предметов и задач; второй, более самостоятельный, от "Преступления и наказания" и до конца, весь посвящен нарождающимся общественным явлениям и главной нашей внутренней болезни, нигилизму.

Но, твердо держась этого служения минуте, беспрестанно вдумываясь в современные явления и гордясь их уловлением в своих произведениях, Федор Михайлович в то же время готов был ставить выше всего строгие требования искусства и был почти безукоризненно чист от всякой исключительности. Хотя он всегда искал в произведениях искусства какого-нибудь современного или национального значения, но художество само по себе восхищало его без всяких условий, и под конец жизни он прямо стал твердить знаменитую формулу искусства для искусства. Это противоречие постоянно жило в нем, как и многие другие противоречия в мыслях и действиях, конечно, находившие себе примирение в глубине его души и во многих случаях, очевидно, спасавшие его от ложных и ненормальных путей; подымаясь над этими противоречиями, он восходил на те высоты, которые дали такое прекрасное настроение всей его деятельности. В настоящем случае это как нельзя яснее: постоянное стремление к настоящей художественности дало произведениям Федора Михайловича ту ширину и глубину, которой никогда бы в них не было при узком понимании задачи.

Здесь кстати вообще сказать, что читатель в этих и следующих заметках не должен видеть попытки вполне изобразить покойного писателя; прямо и решительно отказываюсь от этого. Он слишком для меня близок и непонятен. Когда я вспоминаю его, то меня поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякающая плодovitость его души. В нем как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться. Поэтому и литературная деятельность его растет и расширяется какими-то порывами, не подходящими под обыкновенную форму развития. После ровного ее течения, и даже как будто ослабления, он вдруг обнаруживал новые силы, показывался с новой стороны. Таких подъемов можно насчитать четыре: первый — "Бедные люди", второй — "Мертвый дом", третий — "Преступление и наказание", четвертый — "Дневник писателя". Конечно, всюду это тот же Достоевский, но никак нельзя сказать, что он вполне высказался; смерть помешала ему сделать новые подъемы и не дала нам увидеть, может быть, гораздо более гармонических и ясных произведений.

С чрезвычайной ясностью в нем обнаруживалось особенного рода раздвоение, состоящее в том, что человек предается очень живо известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся и неколеблущуюся точку, с которой смотрит на самого себя, на свои мысли и чувства. Он сам иногда говорил об этом свойстве и называл его рефлексией. Следствием такого душевного строя бывает то, что человек сохраняет всегда возможность судить о том, что наполняет его душу, что различные чувства и настроения могут проходить в душе, не овладевая ею до конца, и что из этого глубокого душевного центра исходит энергия, оживляющая и преобразующая всю деятельность и все содержание ума и творчества.

Как бы то ни было, Федор Михайлович всегда поражал меня широкостью своих сочувствий, умением понимать различные и противоположные взгляды. При первом знакомстве он оказался величайшим поклонником Гоголя и Пушкина и безмерно восхищался ими с художественной стороны. Помню до сих пор, как в первый раз услышал я его чтение стихов Пушкина. Его заставил читать Михаил Михайлович, очевидно благоговевший перед братом и с наслаждением его слушавший. Федор Михайлович читал два удивительных отрывка: "Только что на проталинах весенних" и "Как весенней теплою порою", которые ценил очень высоко и из которых последний потом выбрал для чтения и на Пушкинском празднике. В первый раз я их услышал от него за двадцать лет до этого праздника, и помню мое разочарование: Федор Михайлович читал очень хорошо, но тем несколько подавленным, пониженным голосом, которым обыкновенно читают стихи неопытные чтецы. Помню и другие его чтения стихов и прозы: положительно он не был тогда вполне искусным чтецом. Упоминаю об этом потому, что в последние годы жизни он читал удивительно и совершенно справедливо приводил публику в восхищение своим искусством.

Гоголь был в конце пятидесятых годов еще в свежей памяти у всех, особенно у литераторов, употреблявших беспрестанно в разговоре его выражения. Помню, как Федор Михайлович делал очень тонкие замечания о выдержанности различных характеров у Гоголя, о жизненности всех его фигур, Хлестакова, Подколесина, Кочкарева и пр. Вообще литература, в те времена, имела еще для всех такое значение, какого она уже не имеет для нынешних поколений. Сам же Федор Михайлович был предан ей всем сердцем, и не только воспитался на Пушкине и Гоголе, но и постоянно ими питался. Когда его речь на Пушкинском празднике затмила все другие речи и доставила ему торжество, о котором трудно составить понятие тому, кто не был сам его свидетелем, мне не раз приходило на мысль, что эта награда далась Федору Михайловичу по всей справедливости, что из всей толпы хвалителей и почитателей, конечно, никто больше его не любил Пушкина.

II. ОСНОВАНИЕ "ВРЕМЕНИ"

Весь 1860 год мы только почти у А. П. Милюкова виделись с Федором Михайловичем. Я с уважением и любопытством слушал его разговоры и едва ли сам что говорил; но в "Светоче" шел ряд небольших моих статей натурфилософского содержания, и они обратили на себя внимание Федора Михайловича. Достоевские уже собирали тогда сотрудников: в следующем году они решились начать издание толстого ежемесячного журнала "Время" и заранее усердно приглашали меня работать в нем. Хотя я уже имел маленький успех в литературе и обратил на себя некоторое внимание М. Н. Каткова и Ап. А. Григорьева, все-таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении Федору Михайловичу, который с тех пор отличал меня, постоянно ободрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял за достоинства моих писаний. Читатели могут, конечно, смотреть на это как на ошибку с его стороны, но я должен был упомянуть об этом факте, хотя бы как образчике его литературных пристрастий, и охотно сознаюсь, что, несмотря на подшептывания самолюбия, часто сам видел преувеличение в важности, которую придавал Федор Михайлович моей деятельности.

В сентябре 1860 года при главных газетах и при афишах было разослано объявление об издании "Времени". Так как это объявление несомненно писано Федором Михайловичем и так как оно представляет изложение самых важных пунктов его тогдашнего образа мыслей, то мы приведем его целиком.

"С января 1861 года будет издаваться

"ВРЕМЯ"

журнал литературный и политический ежемесячно, книгами от 25 до 30 листов большого формата

Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.

Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Всё это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносителен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным (2) и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.

Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьянского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских

войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.

Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя — иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вождями и предводителями, показывает, какую дороною ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.

Конечно, идеи народа, оставшегося без вождя на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла, наконец, до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все, следовавшие за Петром, узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, — точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений,

совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил... Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.

И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны, наконец, понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее — вот наша передовая мысль, вот девиз наш.

Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с ним, — вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастьем. А счастье его — счастье наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но, пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования, усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.

Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину, — побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, в последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но, заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобоострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина, иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в

числе скандальных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.

Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и "пораздразнить" литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Оставляя в стороне всякие личности, обходя молчанием все посредственное, если оно не вредно, "Время" будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм — где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежат критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда не низойдет до общепринятой теперь уловки — наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской. Не имея места в простом объявлении входить во все подробности нашего издания, скажем только, что программа наша, утвержденная правительством, чрезвычайно разнообразна. Вот она:

ПРОГРАММА

I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.

II. Критика и библиографические заметки, как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.

III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.

IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.

V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.

VI. Смесь. а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. б) Фельетон, в) Статьи юмористического содержания.

Из этого перечня видно, что все, что может интересовать современного читателя, входит в нашу программу. Из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки.

Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении. Хотя и мы в нашем могли бы выставить не одно известное в нашей литературе имя, но нарочно удерживаемся от этого, потому что, при всем уважении к нашим литературным знаменитостям, сознаем, что не они составляют силу журнала.

"Время" будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.

Редактор М. Достоевский.

"Печатать позволяется. СПб. 6-го сент. 1860 г. Цензор А. Ярославцев".

Федор Михайлович, конечно, желал бы быть и объявить себя прямым редактором журнала; но он тогда состоял под надзором полиции, почему и потом не мог быть утвержден редактором "Эпохи". Только в 1873 году это препятствие было устранено, и он был официально объявлен редактором "Гражданина". Так как оба брата жили душа в душу, то сначала вышло прекрасное разделение труда; все материальные хлопоты принял на себя Михайло Михайлович, а умственное руководство принадлежало Федору Михайловичу.

Это объявление заслуживает величайшего внимания. Без сомнения, оно было старательно обдуманно и обработано Федором Михайловичем, и, очевидно, оно содержит некоторые мысли и стремления, характеризующие всю его дальнейшую деятельность. Как я уже заметил, направление его было своего рода славянофильством; и в подтверждение этого можно сослаться в объявлении на признание разрыва между народом и интеллигенцией, произведенного реформой Петра, на заявление, что нам, русским, суждено особое, самобытное развитие, на требование вернуться к своей почве, к народным началам. Но читатели, знакомые с образом мыслей наших литературных партий, легко заметят, что

это, однако, еще не настоящее славянофильство. Во-первых, исходная точка, очевидно, другая. Мысль Достоевского состоит в том, что нужно примирить образованные классы с народом, объединить их, причем ни образованные классы не должны отказываться от начал своей образованности, ни народ от своих почвенных начал. Требуется совершить некоторый синтез, который совместил бы в себе те и другие начала. В возможности этого синтеза Достоевский нимало не сомневался; он пошел еще далее: он предполагал, что русскому народу даны духовные силы, с которыми он может совершить всемирный синтез, то есть найти исход и примирение для всех противоречий, какие обнаружились в историческом человечестве. Мысль о таком свойстве и предназначении русского народа составляет содержание Пушкинской речи Федора Михайловича, и, следовательно, исповедовалась им до конца.

Мысль эта для него очень характерна. Она свидетельствует о той ширине симпатий, которою он отличался. Он не отказывался от сочувствия к самым разнородным и даже, по-видимому, противоречащим явлениям, как скоро раз сочувствие к ним успело в нем возникнуть. Он не сумел бы логически согласовать свои сочувствия, усмотреть противоречия, к которым они могут повести в дальнейших выводах, и найти формулу, устраняющую эти противоречия; но он мирил в себе свои сочувствия психологически и эстетически. Такого рода настроение играло большую роль в его деятельности и было для нее очень благоприятно. Общей чертой этой деятельности, чрезвычайно важною, нужно считать — отсутствие злобы и презрения в постановке нашей великой распри между западною и русскою идеею. Эта черта составляла сущность того электрического действия, которое произвела речь Достоевского на Пушкинском празднике; она же, как мы увидим, характеризует собою его романы и "Дневник".

Другая черта, которой нельзя не заметить в объявлении, есть неопределенность тех начал, принципов, на которые оно ссылается. Так и следовало этому быть при исходной точке и умственном настроении Достоевского. Мысль его явилась ему пока только в самом общем своем виде. Между тем как славянофилы прямо заявляли некоторые определенные религиозные, философские, политические понятия, Достоевский еще только ищет тех начал, которые поведут к желаемому им примирению. Тем не менее, он говорит об этих искомым началах с большою твердостью и настойчивостью. Это также одно из его отличительных свойств. Мысли самые общие и отвлеченные нередко действовали на него с большою силою, и он воодушевлялся ими чрезвычайно. Вообще он был человек в высокой степени восторженный и впечатлительный. Простая мысль, иногда давно известная и обыкновенная, вдруг зажигала его, являясь ему во всей своей значительности. Он, так сказать, необыкновенно живо чувствовал мысли. Тогда он высказывал ее в различных видах, давал ей иногда очень резкое, образное выражение, хотя и не разъяснял логически, не развертывал ее содержания. Прежде всего он был все-таки художник, мыслил образами и руководился чувствами.

Третья знаменательная черта "Объявления" есть, конечно, та живая надежда на скорость и возможность достижения поставленных целей, которая в нем высказывается. Это также нужно отнести к живости чувства, наполнявшего Достоевского. Между тем, как славянофилы, поставивши свою задачу во всей ее глубине, видели трудность ее исполнения и, чем громче был шум литературного и общественного движения, тем яснее видели, что исполнение заветных их желаний отодвигается самым этим движением, — Достоевский, увлекаясь сам господствующим возбуждением и не видя в нем элементов, вполне враждебных своему идеалу, смело поднял знамя и думал, что увлечет за собою эту волнуемую массу. Эта способность горячей веры и надежды не оставляла его до последних дней. Всегда он увлекался стремительностью своих мыслей и готов был думать, что неминуемо и скоро совершится то, что так ясно видел его умственный взор.

Впрочем, тогда, когда писалось "Объявление", редко кто мог воздержаться от увлечения. Это было именно время надежд и порываний. Все умы были в таком возбужденном состоянии, все пришло в такое брожение, что, по-видимому, могли совершиться самые невероятные вещи. Чувство действительности потерялось; казалось, чего мы захотим, то и сделаем.

Вся вторая половина "Объявления" посвящена уже не изложению направления журнала, а чисто литературным делам того времени. Одной из причин основания нового журнала выставляется измельчание и рутинность критики, рабство журналистики перед литературными авторитетами, отсутствие вполне независимых голосов, господство ходячих мнений, обратившихся в несомненные афоризмы, и безнаказанное существование литературных скандальных и странных явлений. Конечно, все указанные здесь черты того времени справедливы: к сожалению, не могу припомнить частных случаев, к которым относятся слова "Объявления". Достоевские, составляя особый кружок, не примыкавший ни к какому журналу, но в то же время всею душою преданный литературе, естественно должны были строго судить об ее явлениях и составлять об них свои собственные приговоры; поэтому их раздражало чужое пристрастие и замалчивание. Но частных поводов, к сожалению, указать не могу. Скажу только вообще, что сама печать питала тогда к себе некоторое уважение и представляла такое единодушие, которому трудно поверить в настоящее время; казалось, что в существенных вопросах все согласны и что никто не даст другого в обиду. Существовал целый ряд имен, которые считались украшением русской литературы; это были большею частью поэты и романисты; говорить об них без уважения, без очевидного признания их достоинств, считалось неприличным по тогдашним литературным нравам. Разумеется, тут могло встречаться и раболепство, и потворство, особенно когда вся литература сосредоточивалась в журналах, которые больше или меньше питались громкими именами.

Достоевский, выступая с новою мыслию, очень верно понимал свое публицистическое дело; поэтому он так решительно заявил, что "сила журнала не заключается в знаменитостях", что он будет прямо и смело обсуживать литературные авторитеты, даже "дразнить гусей" и вести полемику. Тут, если очень не ошибаюсь, имелись в виду преимущественно суждения о художественных достоинствах писателей, во всяком случае беспристрастие здесь разумелось в самом широком смысле. Но положительно можно сказать, что, несмотря на эту похвальбу, "Время" не отличилось никаким походом на авторитеты. Оно вело войну с "Современником", но это была полемика с направлением, а не развенчание того или другого из известных писателей. Да "Время" было и слишком мягкосердечно, смотрело на вещи слишком широко для подобного занятия. Поход на авторитеты и разрушение литературного единодушия совершены были другою литературною партией, именно тою, во главе которой стоял "Современник".

Эта печальная история мне гораздо живее памятна, чем счастливый период, ей предшествовавший. Понемногу начались действия, которые, кажется, всего лучше назвать литературными казнями. Эти казни сначала были редки и совершались сперва с тем единодушием, которое тогда было свойственно литературе. Если какой-нибудь писатель оказывался виновным, то, бывало, вся литература набрасывалась на эту жертву, набрасывалась так же, как на взятки, побои или какой-нибудь другой безобразный поступок, выплывший на свет Божий. По всем журналам сыпались бесчисленные насмешки, и несчастному писателю приходилось плохо. Такое времяпровождение очень понравилось, и нашлось много охотников до такой расправы, производимой в собственном литературном кругу. Партия "Современника", имевшая сильный вес в публике, загорелась особенным усердием; она стала действовать как некоторого рода

комитет общественного спасения, и этот комитет, отличавшийся великою и возрастающею жестокостию, долго сохранял, однако же, полнейший авторитет.

Литературные имена одно за другим были уничтожаемы; каждая книжка журнала совершала несколько казней и угрожала тем, кто еще не подвергся гибели. Память об этих временах литературного террора теперь почти вовсе изгладилась; но тогда шум стоял большой и дело нимало не казалось смешным. Если не ошибаюсь, один из первых был уничтожен Розенгейм, потом стерт с лица земли Н. Львов, автор какой-то комедии, низринут в прах Погодин, погибли во цвете лет Случевский, Кусков и многое множество других; очередь дошла наконец и до Костомарова и до самого Тургенева... Катастрофа с Тургеневым, случившаяся в начале 1862 года, есть, конечно, самое громкое происшествие этой истории, и если читателям ничего не говорит напоминание и этого события, то им трудно будет составить себе живое понятие о волнениях этой литературной эпохи.

Для пояснения тогдашнего состояния дел припомню здесь случай не столь значительный, но очень характеристический и бывший незадолго до казни Тургенева. Случилось, что вдруг подвергся опасности Писемский. Первый звук грозы, направленной против такого известного писателя, сейчас же обратил общее внимание, то есть в литературных кружках; дело казалось важным и неслыханно дерзким. Гром выходил хотя не из центрального комитета, но из небольшого журнала с карикатурами ("Искры"), который мог считаться отделом комитета. В этом журнале вдруг заговорили о Писемском так, как прежде никто не смел говорить; сказали, что он пишет "гнусную дичь". Не знаю, рассердился ли и испугался ли Писемский, но очень ясно помню, что за него многие рассердились. Подняли толки, было предположено составить протест за Писемского, как это было тогда в обычае, и стали уже собирать подписи для этого протеста. Протест — это значило: заявить всюю массою, от лица всей литературы, что такой-то поступок считается низким, неблагоприятным, возбуждающим негодование. На этот раз число протестующих и их негодование не достигли, однако же, нужной величины, протест не состоялся, и скоро это происшествие было заглушено шумом новых событий. Вот каковы были литературные нравы еще в начале 1862 года; если сравнить их с теперешними, разница выйдет поразительная. Теперь никого не удивишь никакою бранью; ни казни, ни протесты не возможны, потому что нет ни единой и нераздельной публики, ни единой и нераздельной литературы.

III. НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — ПОЧВЕННИКИ

Обращаюсь опять к той главной руководящей мысли, с которою выступило "Время". Чтобы понять настроение, в котором мы все находились и под влиянием которого сложились и мнения журнала братьев Достоевских, нужно вспомнить, в какое время все это происходило. Это был 1861 год, то есть год освобождения крестьян, самая светлая минута прошлого царствования, мгновение истинного восторга. Казалось, что в России должна была начаться новая жизнь, что-то не похожее на все прежнее; казалось, сбываются и могут сбыться самые смелые и радостные надежды; вера во все хорошее была легка и естественна.

Всем было известно, что происходят работы по крестьянскому делу и что они близки к концу. В третьей, мартовской книжке журнала уже был напечатан манифест 19 февраля, который был объявлен 5 марта, в прощальное воскресенье, накануне чистого понедельника. Все с нетерпением и волнением ожидали великой минуты. Говорили тогда, что объявление манифеста было нарочно отложено до этого дня, чтобы сообщить народу весть о перевороте в его судьбе не среди разгула масленицы, а как раз накануне Великого поста. Тут были какие-то опасения, вероятно со стороны тех, кто расположен видеть в

народе "буйного зверя"; но во всяком случае минута выбрана была прекрасно. Все мы потом делились между собою впечатлениями, какие каждому удалось собрать в этот знаменательный день. Оказывалось, что в народе весть об освобождении была встречена глубокою тишиною; шумная и пьяная масленица затихла; видно было, что людьми овладели те важные чувства, которые мы так охотно переживаем в молчании.

После этой радостной минуты быстро наступили, как известно, минуты тяжелые; в конце того же года — студентская история; в следующем 1862 году — петербургские пожары; в начале 1863 года — польское восстание. Но до 1861 года ничего подобного не было, и начиная с самого 1855 года радостное оживление без всякой помехи разрасталось в обществе и литературе. В продолжение семи лет постепенно и непрерывно шли всякие облегчения и дозволения, нововведения и преобразования, и все шло благополучно.

Цензура с каждым годом становилась снисходительнее, и число книг и журналов быстро росло. В это время высказались и договорились до конца те мнения и настроения, которые сложились и окрепли в период молчания до 1855 года; на просторе и среди общего оживления, они смело пускались в приложение и развитие своих начал; давнишняя же привычка и легкий надзор цензуры давали всему вид и очень приличный и очень завлекательный. Таким образом, в эти семь лет сложились те направления, которые господствуют до сих пор. Последним явлением этого рода было направление "Времени", пущенное в ход Федором Михайловичем. По его предположению, это было совершенно новое, особенное направление, соответствующее той новой жизни, которая видимо начиналась в России, и долженствующее упразднить или превзойти прежние партии западников и славянофилов. Неопределенность самой мысли не пугала его, потому что он твердо надеялся на ее развитие. Но — что всего замечательнее — в тогдашнем состоянии литературы были странные черты, которые позволяли ему думать, что давнишние литературные течения, западническое и славянофильское, иссякли или готовы иссякнуть и что готово возникнуть что-то новое. Дело в том, что тогда партии не выделялись ясно и вся литература сливалась во что-то единое. Мне еще памятно то почти дружественное чувство, которое тогда господствовало между пишущими. Получивши лишь недавно голос, имея в виду общего своего зрителя, цензуру, некогда столь грозную, литераторы считали себя обязанными беречь и поддерживать друг друга. Вообще предполагалось, что литература делает некоторое общее дело, перед которым должны отступать на задний план разногласия во мнениях. Действительно, все одинаково стояли за просвещение, свободу слова, снятие всяких уз и стеснений и т. п. — словом, за самые ходячие либеральные начала, понимаемые совершенно отвлеченно, так что под них подходили самые разнообразные и противоречащие стремления. Конечно, представители различных направлений знали про себя границы, их отделяющие, но для обыкновенных читателей и для большинства пишущих литература составляла нечто целое. В сущности, это был хаос, бесформенный и многообразный, и потому легко могло возникнуть желание — дать ему форму, или, по крайней мере, выделить из него некоторое более определенное течение. Что касается прямо до Федора Михайловича, то, взглянув на всю его журнальную деятельность, нельзя не сказать, что он успел в своем желании. Среди петербургской литературы иногда его голос раздавался громко, особенно в последние годы его жизни, когда он даже перевешивал другие голоса, протестуя и указывая другой путь.

Как бы то ни было, тогда, при начале "Времени", решено было, что славянофилы и западники уже отжили и что пора начать нечто новое. В добавление к тому, что сказано об этом пункте в "Объявлении", приведем еще заметку, появившуюся в № 1 "Времени" 1861 г. на задней странице обертки.

"ОТ РЕДАКЦИИ

Первый номер нашего журнала явился перед публикой. Мы не могли еще в нем разъяснить вполне основную мысль нашу. Осветить все ее стороны, оправдать в обществе ее потребность и жизненность можно только целым годом или даже годами издания журнала. Мы веруем только в одно — что наша мысль отзывается на потребности общества. Да и не мы первые провозгласили ее. Она давно уже вырывалась наружу и искала заявить себя: и в горячем слове, и в надеждах на будущее, и в охлаждении к обеим старинным партиям, еще так недавно разделявшим всю мыслящую часть нашего общества. Но общество поняло, что с западничеством мы упрямо натягивали на себя чужой кафтан, несмотря на то, что он уже давно трещал по всем швам, а с славянофильством разделяли поэтическую грезу воссоздать Россию по идеальному взгляду на древний быт, взгляду, составившему вместо настоящего понятия о России какую-то балетную декорацию, красивую, но несправедливую и отвлеченную. И хотя в славянофилах было много любви к родине, но чутье русского духа они потеряли. Они так же ошиблись, как ошибаются те господа, большею частью чистые и наивные сердцем, которые, надев на себя древний кафтан, бархатную поддевку и шелковую рубашку с золотыми галунами, воображают, что они соединились с народным началом. Общество смотрит на них с недоумением, а народ равнодушно. Но теперь мы хотим жить и действовать, а не фантазировать. Общество ищет деятельности и всеми силами своими стремится угадать и определить ее.

Мы особенно будем обращать внимание в нашем журнале на все современные явления, которыми хоть сколько-нибудь можем оправдать и доказать нашу мысль. Кроме того, мы усиленно будем следить за движением всех современных идей. С будущих номеров нашего журнала мы надеемся открыть в нем отдел для разбора и беспристрастной оценки, по возможности, всех тех ходячих идей, современных предположений и вопросов, которые появятся в других русских журналах.

"Ряд статей о русской литературе" (в первой книге мы напечатали лишь введение) будет следовать, по возможности, непрерывно. Со второго же номера мы обратимся к одному из самых современных вопросов нашей литературы, вопросу о значении искусства и о настоящем отношении его к действительной жизни. Это самый горячий из современных литературных вопросов, который настоятельно требует разрешения. Вообще наш журнал употребит все усилия, чтоб не быть отвлеченным, и, повторяем, будет преимущественно заниматься тем, что относится к самым современным явлениям жизни. Он не отказывается от споров, от возражений. Кроме того, он сторонник гласности и понимает скандал только в умышленном намерении оскорбить личность, в заносчивости авторитетов, в бесстыдной лжи перед публикой, в обличении не для пользы общества, а единственно для личного оскорбления обличаемого. Такие действия, если они будут совершаться в литературе, мы будем сами обличать всеми нашими силами.

Особенное внимание обратим мы на отделы Внутренних новостей и Политического обозрения. Последний отдел особенно для нас важен".

Существенный повод к этой заметке, очевидно, состоял в том, что в "Объявлении" слишком бегло было сказано о западничестве и славянофильстве, и нужно было яснее выразить мысль об упразднении этих двух направлений. Кроме Федора Михайловича эта мысль нашла полную поддержку у Ап. Григорьева, который стал усердно писать во "Времени", начиная со второй книжки. Привлечению его к журналу отчасти содействовал я, считавший и считающий его до сих пор лучшим нашим критиком. Помню самый разговор. От меня непременно желали статей по литературной критике; я отказывался и стал настойчиво указывать на Григорьева. К моей неожиданной радости, Федор Михайлович объявил, что он сам очень любит Григорьева и очень желает его сотрудничества. Но приглашение состоялось уже немножко поздно, и первая книжка явилась без статьи того критика, которого потом мы все, до самой его смерти, признавали своим вождем в суждениях о литературе. Статья Григорьева начиналась так:

"К числу несомненных, купленных опытом, фактов нашего времени принадлежит тот факт, что в сущности нет уже более теперь у нас двух направлений, лет за десять тому назад резко враждебно стоявших одно против другого, — западного и восточного. Факт этот пора засвидетельствовать для общего сознания, ибо для сознания отдельных лиц, для сознания каждого из нас, пишущих и мыслящих людей, он уже засвидетельствован давно" ("Время", 1861, № 2).

Такое решительное мнение об упразднении двух главных литературных направлений было внушено Григорьеву конечно желанием такой перемены. Вспомним, что он принадлежал к так называемой молодой редакции погодинского "Москвитянина", к кружку, членами которого некогда (1850—1855) были А. Н. Островский, Т. И. Филиппов, А. Ф. Писемский, А. А. Потехин, Е. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов. Кружок этот, как и сам Погодин, имел в сущности славянофильское направление, но был очень свободен в своих симпатиях и понемногу отделился от чистого славянофильства. Погодин, имевший в свое время влияние и на Пушкина и на первых славянофилов, пользовался великим уважением и у молодой редакции за свой глубочайший патриотизм, за живость и глубину чисто русских симпатий; но он, оставаясь при своих мнениях и называя себя старою редакциею, предоставил в своем журнале простор молодому кружку, с великим энтузиазмом работавшему на литературном поприще. Главным отличием этого кружка было восторженное поклонение художественной литературе; в ней они видели наилучшее выражение народного духа и духа времени, в ней искали откровений и правил. Тут Островский был провозглашен новым словом в литературе; тут господствовало благоговение к Гоголю и Пушкину и совершался отпор натуральной школе и другим уклонам петербургской литературы. Славянофильство, как известно, было гораздо строже и скупее в своих симпатиях, и молодая редакция, упрекая его в холодности к литературе и мечтая занять место во главе литературного движения, слегка обособилась в отдельную партию. К этой-то партии принадлежал Ап. Григорьев, и своим желанием отделиться от славянофилов он значительно поддержал мысль Федора Михайловича о создании нового направления. Для всех нас авторитет Ап. Григорьева в этом деле имел решительное значение; его мы почитали настоящим судьей в вопросах критики и направлений. Так образовалась та партия, которая долго была известна в петербургской литературе под именем почвенников; выражения, что мы оторвались от своей почвы, что нам следует искать своей почвы, были любимыми оборотами Федора Михайловича и встречаются уже в первой его статье. Выражение это, очень образное и живое, имело ту выгоду, что было в то же время очень обще, не указывало прямо определенного принципа. Под него, конечно, подходило и славянофильство, но "Время" давало постоянно чувствовать, особенно сначала, что оно понимает здесь другое, хотя и родственное направление.

Отношения к славянофилам были следующие. Ап. Григорьев всегда говорил об них и устно и печатно с величайшим уважением. От него и мы все научились этому уважению, которого невозможно было почерпнуть из петербургской литературы, никогда не упоминавшей о славянофилах без насмешки и презрения. Припомню здесь маленький случай, который как нельзя яснее покажет положение дел. В 1866 г. литераторы вздумали сделать подарок Комиссарову, спасшему государя от смерти, именно подарить ему коллекцию лучших русских книг. Образовался маленький комитет, чтобы составить список лучших книг, и я был приглашен. Когда, между прочим, я предложил внести сочинения Хомякова, Киреевского и Аксакова, то встретил живейшее противодействие; члены комитета, люди очень почтенные и сведущие, говорили, что это писатели с странными мнениями, никем не разделяемыми, и мне едва удалось настоять на своем, и то потому, что членам пришли на мысль совершенно побочные соображения. Так стояли дела в петербургской литературе, да и теперь они стоят едва ли многим лучше.

Достоевские были прямыми питомцами петербургской литературы; это всегда нужно помнить при оценке их литературных приемов и суждений. Михайло Михайлович был, разумеется, более подчинен и был холоден или даже предубежден против славянофилов, что и отразилось в его вопросе: "Какие же глубокие мыслители Хомяков и Киреевский?", так задевшим за живое Ап. Григорьева. В своем первом письме из Оренбурга Григорьев выставляет этот вопрос чуть не прямою причиною, почему он, после своей четвертой статьи, задумал покинуть журнал и уехать. (3) Федор Михайлович, хотя и был тогда почти вовсе незнаком с славянофилами, конечно не был расположен противоречить Григорьеву и своим широким умом чувствовал, на чьей стороне правда. Как бы то ни было, очевидно, направление "Времени" чрез Ап. Григорьева примыкает к одной ветке погодинского славянофильства; и Григорьеву же принадлежит твердое признание за чистым славянофильством великого, существенного значения в нашей умственной жизни.

Но самая важная и плодотворная роль во всем этом деле, конечно, принадлежит Федору Михайловичу. Он сознательно и прямо пошел навстречу сперва Ап. Григорьеву, а потом славянофилам. При быстроте и гибкости своего ума он легко понимал эти мнения в самых их основаниях; главное же тут было то, что он уже сам, по складу убеждений, воспитанных в нем сближением с народом и внутренним поворотом мыслей, был бессознательным славянофилом. Славянофильство ведь не есть надуманная и оторванная от жизни теория: оно есть естественное явление, с положительной стороны — как консерватизм, то есть приверженность к давнишним началам русской жизни, с отрицательной — как реакция, то есть желание сбросить умственное и нравственное иго, налагаемое на нас Западом. Таким образом произошло и то, что Федор Михайлович создал себе целый ряд взглядов и симпатий совершенно славянофильских и выступил с ними в литературу, сперва не замечая своего сродства с давно существующею литературною партией, но потом прямо и открыто примкнул к ней. Такие союзники, как известно, в каждом деле считаются самыми дорогими; это не вышколенные последователи, не ученики, рабски повторяющие слова учителей, а люди самостоятельные, способные сами крепко стоять за идею и развивать ее дальше. С большою тонкостью Федор Михайлович угадывал приложения своих начал и открывал их различные стороны; случалось, ему потом и указывали, что то или другое было уже сказано славянофилами, и тогда он откровенно признавался: "я этого не знал".

Для полноты картины прибавлю несколько слов о себе самом. В журналистику я вступил, сколько помню, с некоторым равнодушием и даже ленью и потому не принимал большого участия в вопросе о направлении. Мысль о новом направлении, однако же, сперва занимала меня, особенно вследствие влияния Ап. Григорьева; но очень скоро, может быть, по своему расположению к неопределенности, я порешил, что нужно прямо признавать

себя славянофилом, когда признаешь существенные начала этого учения. Таким образом, некоторое время я расходился с направлением "Времени", причем не могу сказать, чтобы горячо проповедовал или отстаивал свое расхождение. И без того дело шло своим естественным путем и пришло к необходимому выводу.

Не то было с сотрудниками, которые были помоложе. Они всего теснее группировались около Ап. Григорьева, привлекавшего их не только умом, но и детскою простотою и добродушием. Молодые люди долго носились с мыслью о новом направлении. Дело, конечно, состояло в том, чтобы дать некоторый больший простор славянофильскому взгляду, захватить в него те явления, которые он ревниво исключал, например, текущую литературу или разные западные влияния. Тут происходили бесконечные споры и делались попытки ежедневно перестраивать или исправлять свое мирозерцание чуть не с самых основ. Картина этого умственного брожения предстала мне однажды с такою ясностью, что я позволю себе рассказать этот случай. Один из сотрудников "Времени" и "Эпохи", Иван Григорьевич Долгомостьев, умный и благородный молодой человек, на моих глазах подвергся сумасшествию, за которым скоро последовала смерть. Это было в 1867 году, два или три года после прекращения "Эпохи" и рассеяния всего ее кружка. Я давно знал Ивана Григорьевича, знал все его мысли и занятия; некоторое время после падения "Эпохи" мы жили вместе с ним. На этот раз он жил отдельно, но в начале декабря, при наступлении жестоких морозов, он вдруг является ко мне и со слезами жалуется на нестерпимые козни и преследования, которым он будто бы подвергается в своей меблированной комнате. Чтобы успокоить его, я предложил ему остаться у меня, довольно ясно понявши его состояние. Через несколько дней, когда я, около часу ночи, вернулся домой, он, против обыкновения, еще не спал и стал из своей комнаты говорить мне что-то, довольно странное, как и все его речи в последнее время. Я настоятельно попросил его не разговаривать и спать, улегся сам и заснул. Через час или полтора меня разбудил какой-то говор. В темноте слушаю и слышу, что мой гость лежа говорит сам с собою. Разговор, очевидно, начат был шепотом, но становился с каждою минутою громче и громче; наконец, он сел на своей постели и все продолжал говорить. Я понял, что это полный бред сумасшествия. Что было делать? Толкаться среди ночи к доктору или в больницу было бы для всех большим беспокойством, и едва ли бы я выгадал много времени. Я решился ждать рассвета. И вот в продолжение пяти или шести часов, лежа в темноте, я слушал этот бред. Так как мне известны были все мысли и всякий способ выражения моего приятеля, то для меня с удивительною ясностью открылась тайна сумасшествия, по крайней мере этого сумасшествия. Это был хаос давно знакомых мне слов и мыслей; как будто вся душа несчастного Ивана Григорьевича, все его мысли и чувства были изорваны в клочки, и эти клочки путались и перепутывались самым неожиданным образом. Нечто подобное бывает с нами, когда мы засыпаем и когда образы и слова, наполняющие наш ум, приходят в странные, бессмысленные сочетания.

Но во всем этом бреде была, однако же, руководящая мысль; больной уже не имел власти над своим воображением и своими понятиями, но в нем неизменно действовало желание подгонять этот беспорядочный поток к известной цели. Эта цель, эта мысль была — новое направление почвенников. Читатель едва ли себе представит, с каким ужасом и с какою жалостию я слушал этот бред; в этих исковерканных и изорванных в клочки мыслях отражались споры и рассуждения, которые несколько лет, днем и ночью, занимали небольшой кружок людей. Для меня не могла быть тайною причина сумасшествия; причина заключалась в тех невероятных излишествах, которым предавался когда-то наш приятель и которые совершенно его истощили; но, когда этому организму пришлось погаснуть, последняя его вспышка показала только, что всего больше его интересовало, чем питался его ум. Повторяю, Иван Григорьевич был человек умный и благородный, и в его сумасшествии это было для меня ясней, чем когда-нибудь.

Итак, направление почвенников имело своих исповедников и, как я уже заметил, имело и некоторые основания для своего особого существования. Оно было, во всяком случае, русское, патриотическое направление, искавшее себе определения и, как того требовала логика, наконец примкнувшее к славянофильству. Но некоторое время оно держалось особняком, и на это была двоякая причина: во-первых, желание самостоятельности, вера в свои силы; во-вторых, желание проводить свои мысли в публику как можно успешнее, интересовать ее, избегать столкновений с ее предубеждениями. Братья Достоевские прилагали большие старания к тому, чтобы журнал их был занимателен и больше читался. Заботы о разнообразном составе книжек, о произведении впечатления, об избегании всего тяжелого и сухого были существенным делом. Этим объясняется появление в журнале таких статей, как "Бегство Жана Казановы из венецианских Пломб", "Процесс Ласенера" и т. п., а также стремление других статей к легкой и шутовой говорливости, бывшей тогда в ходу во всей журнальной литературе. "Время" не хотело никому уступить в легкости чтения и в интересе, и хлопотало об успехе, не только вообще признавая его обоюдно полезным и для себя и для публики, но и прямо для того, чтобы дать возможно большее распространение той идее, с которой оно выступило в литературу. И вот почему прямая ссылка на славянофилов была бы неудобна, если бы даже журнал был расположен ее сделать. Вот где и настоящая причина небольших разногласий, возникавших у журнала с Ап. Григорьевым. Статьи Григорьева усердно читались нами, сотрудниками "Времени", вероятно читались и серьезными литераторами других кружков; но для публики они, очевидно, не годились, так как для своего понимания требовали и умственного напряжения и знакомства с литературными преданиями, не находящимися в обиходе. Для журнала представляли некоторое неудобство и его резкие ссылки на славянофильство. В чем тут было дело, всего лучше объяснит следующая статья самого Федора Михайловича, помещенная вслед за моими "Воспоминаниями об Аполлоне Григорьеве". Статья эта и вообще так полна разных автобиографических подробностей, что здесь ей настоящее место.

("Эпоха" 1864. Сентябрь.)

"ПРИМЕЧАНИЕ

Никак не могу умолчать о том, что в первом письме Григорьева касается меня и покойного моего брата. Тут есть ошибки, и по некоторым из них полную правду могу восстановить только я; я был тут сам деятелем, а по другим фактам личным свидетелем.

1) Слова Григорьева: "Следовало не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически..." — никоим образом не могут быть обращены в упрек моему брату, любившему меня, ценившему меня, как литератора, слишком высоко и пристрастно и гораздо более меня радовавшемуся моим успехам, когда они мне доставались. Этот благороднейший человек не мог употреблять меня в своем журнале как почтовую лошадь. В этом письме Григорьева очевидно говорится о романе моем "Униженные и оскорбленные", напечатанном тогда во "Времени". Если я написал фельетонный роман (4) (в чем сознаюсь совершенно), то виноват в этом я и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так написал все, что издано мною, кроме повести "Бедные люди" и некоторых глав из "Мертвого дома". Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а

окончание сидело еще в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с "Униженными и оскорбленными", но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинаясь журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. Я сам уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д. Здесь я действовал не из-за денег. Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, (5) а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и выноска идей в уме и в душе). В то время, как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нем будет поэзия; 2) что будет два-три места горячих и сильных; 3) что два наиболее серьезных характера будут изображены совершенно верно и даже художественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь. Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики. Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но...

Да простит мне читатель эту рацею о себе и о "высоком даровании" моем, хотя бы в том уважении, что я первый раз в жизни заговорил теперь сам о своих сочинениях. Но, повторяю, в фельетонстве моем я сам был виноват и никогда, никогда благородный и великодушный брат мой не мучил меня работой... Добрый Аполлон Александрович, с которым я сошелся гораздо ближе впоследствии, всегда следил за моей работой с горячим участием, и это объясняет слова его. Он только не знал на этот раз, в чем дело.

2) Н. Н. Страхов хоть и представляет далее в статье своей комментарий на слова моего брата, приведенные Аполлоном Григорьевым, о Киреевском, Хомякове и о. Феодоре, но так как я сам был тут, при этом разговоре, то считаю, как личный свидетель, не лишним разъяснить эти слова в их настоящем смысле.

Аполлон Григорьев весьма часто упоминал во "Времени" о Хомякове и Киреевском, и упоминал всегда так, как хотел, потому что сама редакция "Времени" вполне ему сочувствовала. Но то было худо, что часто он неумело упоминал об этих лицах, потому что говорил о них голословно. Масса читателей тянула тогда совершенно в другую сторону; про Хомякова и Киреевского было известно ей только то, что они ретрограды, хотя, впрочем, эта масса их никогда и не читала. Следовало знакомить с ними читателей, но знакомство это делать осторожно, умеючи, постепенно, более проводить их дух и идеи, чем губить их на то время громкими и голословными похвалами. Оттого-то какой-нибудь тогдашний прогрессист, раскрывая книгу и наталкиваясь прямо на слова: "великие мыслители Хомяков, Киреевский, о. Феодор" — с презрением закрывал журнал не читая, а Григорьева называл сумасшедшим и смеялся над ним.

Покойный брат мой, излагая все это Григорьеву в совершенно дружеском разговоре, при котором я тогда присутствовал и в котором участвовал, заключил такими словами: "Помилуйте, да каждый читатель после этого совершенно вправе вас спросить: какие же глубокие мыслители Киреевский и Хомяков?" (то есть когда вы не объяснили этого, а написали голословно).

Но Григорьев никогда не понимал таких требований. В нем решительно не было этого такта, этой гибкости, которые требуются публицисту и всякому проводителю идей. Даже так случалось, что после подобных объяснений ему иногда казалось, что от него требуют отступничества от прежних убеждений.

3) Совершенная правда, что в журнале, в первые годы его существования, были колебания, — не в направлении, а в способе действия. Были тоже ошибки в некоторых убеждениях. Но направление могло только формулироваться с годами. Иметь направление и уметь его ясно и всем понятно формулировать — дело розное. Последнее приобретается опытом, временем, жизнью и находится в прямом отношении к развитию самого общества. Отвлеченная формула не всегда годится. Кому есть что сказать, тот знает, как иногда трудно высказаться. Рутинные формулы, взятые напрокат, да еще задним числом, то есть когда уже все о них имеют некоторое понятие, гораздо более удаются, более нравятся обществу, чем незнакомые ему убеждения. Только обносившиеся идеи очень понятны. (6) В прежних ошибках мы готовы сознаться искренно; но ведь мы не могли их тогда видеть сами, именно потому, что и тогда действовали по твердому убеждению.

4) Что же касается до того: пускать ли того или другого в сотрудники или до требования человека нового и свежего для Политического обозрения и проч. и проч., то этими требованиями Аполлон Григорьев только доказал, что он не имел ни малейшего понятия о практической стороне издания журнала. Если, положим, К<усков> и М<инаев>, с образом мыслей которых журнал вполне не согласен, представят к напечатанию в редакцию журнала такие статьи, которые на этот раз не противуречат его главной идее, его направлению, а между тем сами по себе любопытны и даже талантливы, то эти статьи, разумеется, можно напечатать. Иначе ни один журнал не состоится. Так же точно нельзя не ошибиться, хоть раз, в напечатании какой-нибудь неудачной драмы или повести. Ошибался и Аполлон Григорьев, и такое требование с его стороны было слишком строго. Требование же "нового и свежего человека" для Политического обозрения — было еще строже. Требовать вдруг всего — было невозможно. Впоследствии Политическое обозрение во "Времени" составлялось весьма талантливо и замечательным сотрудником; но и оно далеко не выражало направления журнала. Трудно сразу отыскать для каждого отдела людей с талантами, равносильными таланту Островского, да еще начинающему журналу. Уже довольно того, что журнал ищет этих людей и сознает их необходимость. Но всего досаднее в подобных случаях то, что такого сотрудника, в данный момент, может и совсем на свете не быть.

Сделаю еще одно последнее, общее замечание. В этих великолепных, исторических письмах, (7) в которых не звучит ни одной фальшивой (неискренней) ноты и в которых так типично, хотя все еще не вполне, обрисовывается один из русских Гамлетов нашего времени (настоящих Гамлетов), — в этих великолепных письмах, говорю я, не все и теперь может быть взято редакцией "Эпохи" без оговорок. Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика. Григорьев был бесспорный и страстный поэт, но он был и капризен и порывист, как страстный поэт. Я не о том собственно говорю, что он увлекался, — фраза, которую некрологи его (из которых, без сомнения, редкий и читал Григорьева) обратили в пошлое выражение. Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других и рефлексировали. Человек он был непосредственно, и во многом даже себе неведомо — почвенный, кряжевый. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура (не говорю: как идеал; это разумеется). От этого и происходило, что малейший порыв свой в общем деле он считал до того кровным и необходимым для всего дела, до того неразрывным с делом, что малейшее неудовлетворение этому порыву казалось ему иногда падением всего дела. И так как раздваивался жизненно он менее других, и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий "герой нашего времени", одной своей половиной тосковать и мучиться, а

другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже в прекрасных стихах, с самообожанием и с некоторым гастрономическим наслаждением — то и заболел тоской своей весь, целиком, всем человеком, если позволят так выразиться. В этом настроении написаны и письма его.

"Я критик, а не публицист", — говорил он мне сам несколько раз и даже незадолго до смерти своей, отвечая на некоторые мои замечания. Но всякий критик должен быть публицистом, в том смысле, что обязанность всякого критика — не только иметь твердые убеждения, но уметь и проводить свои убеждения. А эта-то умелость проводить свои убеждения и есть главнейшая суть всякого публициста. Но Григорьев, судя о слове публицист с предубеждением, — по некоторым частным примерам бывших у нас публицистов, — не хотел даже и понимать, чего от него добивались, и, кто знает, по своей гамлетовской мнительности, может быть, думал, что от него добиваются отступничества.

Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания. (8) Но я рад чрезвычайно, что публика и литература могут яснее узнать по этим письмам Григорьева, какой это был правдивый, высоко честный писатель, не говоря уже о том, до какой глубины доходили его требования и как серьезно и строго смотрел он всю жизнь на свои собственные стремления и убеждения.

Федор Достоевский".

IV. БОЛЕЗНЬ — ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТРУД

Эта статья возвращает нас опять к самому началу журнала. Федор Михайлович принялся работать с удивительным жаром. Он печатал с первой книжки свой роман "Униженные и оскорбленные" и вел критический отдел, который открыл статью: "Ряд статей о русской литературе. Введение". Но кроме того, он принимал участие в других трудах по журналу, в составлении книжек, в выборе и заказе статей, а в первом номере взял на себя и фельетон. Фельетон поручен был, собственно, Д. Д. Минаеву; но, не знаю почему, содержание написанного им фельетона не удовлетворило Федора Михайловича; тогда он наскоро написал свою статью, под заглавием "Сновидения в стихах и прозе", и вставил в нее все стихотворения, которыми был пересыпан фельетон Д. Д. Минаева, по тогдашней моде, введенной, кажется, Добролюбовым, именно его знаменитым "Свистком" в "Современнике". Такого труда, наконец, не выдержал Федор Михайлович и на третий месяц заболел. В апрельской книжке "Времени" вместо пяти или даже шести печатных листов явилось только восемнадцать страниц его романа, с примечанием от редакции о болезни автора. Болезнь эта была страшный припадок падучей, от которого он дня три пролежал почти без памяти.

Помню нашу общую тревогу, — несмотря на то что вообще его припадки были делом привычным для его близких.

Дорого обходился ему литературный труд. Впоследствии мне случалось слышать от него, что для излечения от падучей доктором одним из главных условий ставили — прекратить вовсе писание. Сделать этого, разумеется, не было возможности, даже если бы он сам мог решиться на такую жизнь, на жизнь без исполнения того, что он считал своим призванием. Мало того — не было возможности даже и отдохнуть хорошенько, год или два. Только перед самой смертью дела его, благодаря больше всего заботливости Анны

Григорьевны, устроились так, что отдых был возможен; но перед самой же смертью он меньше чем когда-нибудь был расположен остановиться на своем пути.

Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в месяц, — таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще; бывало даже и по два припадка в неделю. За границу, то есть при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что месяца четыре проходило без припадка. Предчувствие припадка всегда было, но могло и обмануть. В романе "Идиот" есть подробное описание ощущений, которые испытывает в этом случае больной. Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок обыкновенной силы. Это было, вероятно, в 1863 году, как раз накануне Светлого воскресенья. Поздно, часу в одиннадцатом, он зашел ко мне, и мы очень оживленно разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это был очень важный и отвлеченный предмет. Федор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты.

Припадок на этот раз не был сильный. Вследствие судорог все тело только вытягивалось да на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя, и я проводил его пешком домой, что было недалеко.

Много раз мне рассказывал Федор Михайлович, что перед припадком у него бывают минуты восторженного состояния. "На несколько мгновений, — говорил он, — я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь".

Следствием припадков были иногда случайные ушибы при падении, а также боль в мускулах от перенесенных ими судорог. Изредка появлялась краснота лица, иногда пятна. Но главное было то, что больной терял память и дня два или три чувствовал себя совершенно разбитым. Душевное состояние его было очень тяжело; он едва справлялся со своей тоскою и впечатлительностью. Характер этой тоски, по его словам, состоял в том, что он чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство.

Понятно, как вредно было для Федора Михайловича все то, что производит приливы крови к голове, — следовательно, по преимуществу писание. Это один из множества примеров тех страданий, которые вообще приходится выносить писателям. Кажется, можно считать исключением тех из них, у которых их труд не связан с нарушением равновесия в организме, не сопровождается впечатлительностью и напряжением, граничащими с болезнью и потому неизбежно ведущими к страданию. Радости творчества и умственного наслаждения имеют свою обратную сторону, и редко кому удается избежать ее. Чем выше полет, тем большее падение; тонкая чувствительность часто бывает выработана мучительными обстоятельствами, но, во всяком случае, делает мучительными даже обыкновенные обстоятельства.

Скажу здесь и о манере писания, о которой с невольной жалобой упоминает Федор Михайлович в начале "Примечания".

Обыкновенно ему приходилось торопиться, писать к сроку, гнать работу и нередко опаздывать с работою. Причина состояла в том, что он жил одною литературою и до последнего времени, до последних трех или четырех лет, нуждался, поэтому забирал деньги вперед, давал обещания и делал условия, которые потом и приходилось выполнять. Распорядительности и сдержанности в расходах у него не было в той высокой степени, какая требуется при житье литературным трудом, не имеющим ничего определенного, никаких прочных мерок. И вот он всю жизнь ходил, как в тенетах, в своих долгах и обязательствах и всю жизнь писал торопясь и усиливаясь. Но была еще причина, постоянно увеличивавшая его затруднения и гораздо более важная. Федор Михайлович всегда откладывал свой труд до крайнего срока, до последней возможности; он принимался за работу только тогда, когда оставалось уже в обрез столько времени, сколько нужно, чтобы ее сделать, делая усердно. Это была леность, доходившая иногда до крайней степени, но не простая, а особенная, писательская леность, которую с большою отчетливостию пришлось мне наблюдать на Федоре Михайловиче. Дело в том, что в нем постоянно совершался внутренний труд, происходило нарастание и движение мыслей, и ему всегда трудно было оторваться от этого труда для писания. Оставаясь, по-видимому, праздным, он, в сущности, работал неутомимо. Люди, у которых эта внутренняя работа не происходит или очень слаба, обыкновенно скучают без внешней работы и со сластью в нее втягиваются. Федор Михайлович с тем обилием мыслей и чувств, которое он носил в голове, никогда не скучал праздностию и дорожил ею чрезвычайно. Мысли его кипели; беспрестанно создавались новые образы, планы новых произведений, а старые планы росли и развивались. "Кстати, — говорит он сам на первой странице "Униженных и оскорбленных", где вывел на сцену самого себя, — мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?"

Попробуем отвечать за него. Писание было у него почти всегда перерывом внутренней работы, изложением того, что могло бы еще долго развиваться до полной законченности образов. Есть писатели, у которых расстояние между замыслом и выполнением чрезвычайно мало; мысль у них является почти одновременно с образом и словом; они могут дать выражение только вполне сложившимся мыслям, и, раз сказавши что-нибудь, они сказать лучше не могут. Но большинство писателей, особенно при произведениях крупного объема, совершают долгую и трудную работу; нет конца поправкам и переделкам, которые все яснее и чище открывают возникший в тумане образ. Федор Михайлович часто мечтал о том, какие бы прекрасные вещи он мог выработать, если бы имел досуг; впрочем, как он сам рассказывал, лучшие страницы его сочинений создались сразу, без переделок, — разумеется, вследствие уже выношенной мысли.

Писал он почти без исключения ночью. Часу в двенадцатом, когда весь дом укладывался спать, он оставался один с самоваром и, попивая не очень крепкий и почти холодный чай, писал до пяти и шести часов утра. Вставать приходилось в два, даже в три часа пополудни, и день проходил в приеме гостей, в прогулке и посещениях знакомых.

На Федоре Михайловиче можно было ясно наблюдать, какой великий труд составляет писание для таких содержательных писателей, как он. В свои произведения он вкладывал только часть той непрерывной работы, которая совершалась в его голове. Читатели, как известно, иногда питают легкомысленное мнение, что писание ничего не стоит даровитым людям, и обманываются в этом случае тою легкостию, с которою течет стих или проза готового произведения. Но, в сущности, читатели редко ошибаются в оценке авторского

труда, потому что обыкновенно их занимает или трогает только то, что занимало или трогало самого автора, и насколько души и труда он вложил в свое произведение, настолько оно и действует на читателей.

Что касается до поспешности и недоделанности своих произведений, то Федор Михайлович, как видно из "Примечания", очень ясно видел эти недостатки и без всяких околичностей сознавался в них. Мало того; хоть ему и жаль было этих "недовершенных созданий", но он не только не каялся в своей поспешности, а считал ее делом необходимым и полезным. Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не самое произведение, а минута и впечатление, хотя бы и неполное. В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства. Так как планам и замыслам у него не было конца, то он всегда носился с несколькими темами, которые мечтал обработать до полной отделки, но когда-нибудь после, когда будет иметь больше досуга, когда времена будут спокойнее. А пока он писал и писал полуобработанные вещи, — с одной стороны, чтобы добывать средства для жизни, с другой стороны, чтобы постоянно подавать голос и не давать публике покоя своими мыслями. Об этой журнальной манере писания есть одно место у Добролюбова, которое кстати здесь привести. Разбирая "Униженных и оскорбленных", Добролюбов говорит:

"Г. Достоевский, вероятно, не будет на меня сетовать, что я объявляю его роман, так сказать, ниже эстетической критики. Я ведь имел в виду вообще современную нашу литературу, и если проверил свою мысль несколькими беглыми замечаниями о его романе, так это потому, что он мне попался под руку. А если бы взять другие из творений, имевших у нас успех в последние годы, так многие из них оказались бы, может быть, еще более несостоятельными. Г. Достоевский по крайней мере, — как нам кажется, судя по некоторым местам его сочинений, — не имеет таких претензий, не придает себе такой важности, как другие. Он изобразил некоторые свои литературные отношения в записках Ивана Петровича: я не считаю нескромным сказать это, потому что сам автор явно не хотел скрываться. Он с такими подробностями рассказывает там содержание "Бедных людей", как первой повести Ивана Петровича, — что нет возможности ошибиться. Так тут-то он, между прочим, сознается, что писал многое вследствие необходимости, писал к сроку, написывал по три с половиною печатных листа в два дня и две ночи; называет себя почтовой клячей в литературе; смеется над критиком, уверявшим, что от его сочинений пахнет потом и что он их слишком обдeldывает. (9) Словом, г. Достоевский смотрит, по-видимому, на свои произведения, как мы все, обыкновенные люди, — не как на несокрушимый памятник для потомства, а просто — как на журнальную работу. А уж известно, что такое журнальная работа: тут не до обработки, не до подробностей, не до строгости к себе в развитии мысли... Довольно того, что хоть кое-как успеешь бросить эту мысль на бумагу. Можно это сравнить вот с чем: вы поэт, в вас сейчас родилось чувство, вас поразило впечатление, которое вы можете изобразить великолепными стихами. У вас уже мелькают в голове образы, готово несколько стихов, несколько метких выражений... Но вам мешают, от вас требуют немедленного отчета в вашем впечатлении, у вас, наконец, вовсе отнимают возможность предаться влечению вашего чувства и приискать для него живые звуки. Делать нечего, вы берете карандаш и записную книжку и набрасываете шероховатой прозой остов того прекрасного стихотворения, которое уже слагалось у вас в голове. Так поступает постоянно, в течение всей своей карьеры, журнальный работник" ("Современник" 1861 г. № 9. Сочинения Добролюбова, т. III, с. 604).

В этих признаниях слышится, кажется, и некоторая жалоба Добролюбова на то, что ему пришлось растратить свои силы в такой работе. Это была его последняя статья. Но как бы

то ни было, здесь указывается на очень обширный и важный факт нашей литературы. Она давно и до сих пор отличается преобладанием журналов, а журналы отличаются спешностью работы; они и сами привыкли и читателей приучили к тем жидким и бесформенным разглагольствиям, к тем рассуждениям, имеющим только начала, но не имеющим ни конца, ни середины, которые почти без исключения наполняют журнальные книжки. Такого рода склад литературы зависит, конечно, от того, что публика читает только новое, свежее; а в новом она ищет не удовлетворения своей любознательности или своих эстетических вкусов, а только указаний и намеков на то, в чем состоят в каждую минуту самые современные и самые передовые мнения на западе, или, пожалуй, в наших передовых кружках. Публика наша состоит не из судей, а из учеников, не из людей, имеющих свое мнение, а из людей, боящихся, как бы не отстать от чужих мнений. Ей нужен авторитет, нужно чтение легкое и в то же время поддерживающее ее в уверенности, что она знает дух и направление самого нового, самого последнего просвещения. Таким образом развилась и развивается до сих пор эта огромная журнальная литература, в которой приемы писания могут падать до величайшей небрежности, до самой низшей степени, какая только возможна. Не имея самостоятельности, исполняя служебную роль, литература, естественно, должна была испортиться, потерять строгость формы и мысли.

Тем не менее эта литература не была ни бесполезною, ни неблагородною. Она воспитывала публику, и в большинстве случаев была одушевлена искренним усердием к своим целям. Поэтому нет ничего удивительного, что Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей, разумеется ясно сознавая, что он делает и в чем отстает от строгой формы мысли и искусства. Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг него, не становился никогда в стороне от нее. Обыкновенное его чтение были русские журналы и газеты. Его внимание было постоянно устремлено на его собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом и об других. Он очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою, и очень огорчался нападками и бранью. Тут были его главные умственные интересы, да тут же были и его вещественные интересы. Он жил исключительно литературным трудом, никогда и не предполагая для себя какого-нибудь другого занятия, не задаваясь и мыслью о каком-нибудь месте, казенном или частном. В случаях нужды он без всякой щепетильности обращался с просьбами к различным редакциям. Не раз, когда его не было в Петербурге, мне случалось, по его просьбе, вести с разными редакциями переговоры о деньгах, которые он хотел получить за будущую повесть. Большею частью переговоры оканчивались отказом, и мне иногда было очень больно от мысли, кому он делает предложения, и притом напрасные предложения. Но он смотрел на эти случаи как на неизбежные неудобства своей профессии и хорошо понимал, что они никак не могут быть поставлены ему в упрек. Зависимость от редакций и книгопродавцев, всякие торги и переговоры составляют всегда дело полюбовное, сделку равных между собою людей и потому никогда не могут быть так тяжелы, как другие людские отношения.

Таким образом, литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; он избрал ее своею профессиею и иногда даже высказывал гордость этим своим положением. Он усердно трудился и работал и достиг своего: он сделал одну из блистательных литературных карьер, достиг громкой известности, распространения своих идей, а под конец жизни и материального достатка.

Понятно поэтому, как он любил литературу, особенно вначале, когда еще не выразилось резко то различие, которое поставило его в оппозицию к общему настроению петербургской журналистики. Вот причина, почему он не мог сразу сойтись с славянофилами. Он живо почувствовал ту враждебность, которую они искони, в силу

своих принципов, питали к ходячей литературе. В 1861 году И. С. Аксаков начал издавать "День" и в первых же статьях красноречиво выразил осуждение господствовавших в журналах направлений. Федор Михайлович по этому случаю горячо вступился за литературу (см. Сочинения, т. X, с. 131 и сл.). В этой статье очень характерна следующая выходка, обращенная к славянофилам: "Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придешь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас, (10) как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете? Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы!" (с. 137, 138).

Здесь очень верно сказалось различие одного и другого отношения и очень живо выражается собственное чувство Федора Михайловича, чувство полной принадлежности к текущей литературе. Славянофилы, действительно, не вполне принадлежали к занятым литераторам и смотрели на дело со стороны.

Приведу, наконец, для большего пояснения, и себя. Мне пришлось поздно вступить в литературу, и сперва я готовился к ученому поприщу. Поэтому и я смотрел на журналистику со стороны и принес в нее некоторое высокомерие. Всячески старался я избежать многописания и заботился о полной отделке своих статей. Эти заботы обыкновенно возбуждали насмешки Федора Михайловича. "Вы все стараетесь для "Полного собрания" своих сочинений!" — говорил он. "Да никогда не будет этого собрания!" — отвечал я. Но скоро я втянулся в литературу и стал гораздо живее принимать к сердцу ее интересы. Пренебрежение к журналистике уступило место более серьезному отношению, когда оказалось, что на подкладке этих разглагольствий вырастают такие явления, как нигилизм; вражду, которую я чувствовал, я старался передать и Федору Михайловичу.

Как бы то ни было, результат, к которому пришли его литературные отношения, известен; в конце своего поприща, когда он признавал себя вполне славянофилом, он готов был отзываться о нашей интеллигенции и ее стремлениях почти с такою же горечью, какая некогда так обидела его на страницах "Дня". Что касается до пристрастия к фельетонной манере журналов, то оно никогда вполне у него не исчезало. Сам он иногда даже насилывал себя, стараясь быть борзописцем и фельетонистом ради принесения общей пользы. С годами писание его становилось, однако, все строже и строже, да и прежде в его фельетонных писаниях встречалось немало страниц, явно показывавших художественную силу и строгие приемы, далеко превышающие задачи фельетона.

V. УСПЕХ "ВРЕМЕНИ". — СОТРУДНИКИ

Журнал "Время" имел решительный и быстрый успех. Цифры подписчиков, которые так важны были для всех нас, мне твердо памяты. В первом, 1861, году было 2300 подписчиков, и Михайло Михайлович говорил, что он в денежных счетах успел свести концы с концами. На второй год было 4302 подписчика; список их по губерниям был напечатан во "Времени" 1863 года, январь, стр. 189—210. На третий год издания, в апреле месяце, было уже до четырех тысяч, и Михайло Михайлович говорил, что остальные триста должны непременно набраться к концу года. Таким образом, дело сразу стало прочно, стало со второго же года давать большой доход, так как 2500 подписчиков вполне покрывали издержки издания; авторский гонорар был тогда менее нынешнего, он редко падал ниже пятидесяти рублей за печатный лист, но редко и подымался выше, и почти никогда не переходил ста рублей.

Причинами такого быстрого и огромного успеха "Времени" нужно считать прежде всего имя Ф. М. Достоевского, которое было очень громко; история его ссылки в каторгу была всем известна; она поддерживала и увеличивала его литературную известность — и наоборот. "Мое имя стоит миллиона!" — сказал он мне как-то в Швейцарии с некоторою гордостью.

Другая причина была — прекрасный (при всех своих недостатках) роман "Униженные и оскорбленные", достойно награждавший читателей, привлеченных именем Федора Михайловича. По свидетельству Добролюбова, в 1861 году этот роман был самым крупным явлением в литературе. "Роман г. Достоевского, — писал критик, — очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою..." И дальше: "Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор (это значит до сентября 1861 г.) представляет лучшее литературное явление нынешнего года" (Сочинения Добролюбова, т. 3, стр. 590—591).

Третьей причиною нужно считать общее настроение публики, никогда так жадно не бросавшейся на литературные новинки, как в то время. За первым увлечением иногда следовало быстрое разочарование; но на этот раз дело пошло прекрасно. Журнал оказался очень интересным; в нем слышалось воодушевление и, кроме того, выявилось направление вполне либеральное, но своеобразное, не похожее на направление "Современника", многим уже начинавшее набивать оскомину. Но вместе с тем "Время", по-видимому, в существенных пунктах не расходилось с "Современником". Не только в 9-й книжке "Современника" роман Федора Михайловича разбирался с большими похвалами, из которых мы привели несколько строк, но при самом начале "Времени" "Современник" дружелюбно его приветствовал. Первая книжка "Современника" вышла в конце января, недели через три после первого номера "Времени", и в этой книжке был помещен "Гимн "Времени" (вероятно, Добролюбова или Курочкина), в котором новый журнал предостерегался от врагов и опасностей. В то время слово "Современника" много значило; он достиг в это время самой вершины своего процветания и решительно господствовал над петербургскою публикою; его привет был действительнее всяких объявлений. В октябрьской книжке "Времени" 1861 года явилось даже стихотворение Некрасова "Крестьянские дети" вместе с комедиею Островского "Женитьба Бальзаминова"; в апрельской книжке "Времени" 1862 года явились сцены Щедрина. Таким образом, самые крупные сотрудники "Современника" по части изящной словесности, и даже Некрасов и Щедрин, отдававшие все свои силы этому журналу, ясно выказали свое особенное расположение ко "Времени". Тут можно видеть, конечно, и отражение успеха "Времени", и даже некоторое уважение к его направлению, уважение, которое, как мне думается, Некрасов сохранял до конца.

Так или иначе, но только "Время" быстро поднялось в глазах читателей, и в то время, как старые журналы, "Отечественные записки", "Библиотека для чтения" и т. п., падали, "Время" процветало и стало почти соперничать с "Современником", по крайней мере имело право, по своему успеху, мечтать о таком соперничестве. Этот успех ни в каком случае не был обманчивым явлением, то есть не был одним минутным увлечением, столь обыкновенным в нашей публике. Далее я расскажу, как наступил после него упадок, а теперь только замечу, что быстрый успех породил в нас большую самоуверенность, которая при счастливых обстоятельствах очень способствовала делу, но зато при несчастных очень ему повредила.

Тогда, в 1861 году, все мы очень радовались и собирались усердно работать. Я подал в отставку из гимназии, и Михайло Михайлович собирался закрыть свою табачную фабрику. Эта фабрика заведена была им после 1849 года, когда литература была в очень

стесненном положении. Фабрика имела сперва порядочный успех; отставной литератор придумал уловку, давшую вдруг большой ход его папиросам; он стал изготовлять папиросы с сюрпризами, то есть в ящик папирос вкладывать какую-нибудь недорогую вещицу, которая неожиданно в виде прибавки доставалась покупателю. Но понемногу фабрика падала, и Михайло Михайлович решился вполне посвятить себя одному журналу. Один Ап. Григорьев огорчил нас среди лета своим непонятным отъездом в Оренбург. Причиною были, впрочем, очевидно, его домашние обстоятельства, а не неверие в журнал, который всегда очень дорожил им и в котором, спустя год, он стал по-прежнему ревностно участвовать.

Во все существование "Времени" сотрудники его составляли две группы. Одна держалась вокруг Ап. Григорьева, умевшего удерживать около себя молодых людей привлекательными чертами своего ума и сердца, особенно же искренним участием к их литературным занятиям; он умел будить их способности и приводить их в величайшее напряжение. Другую группу составляли Федор Михайлович и я; мы особенно подружились и виделись каждый день и даже не раз в день. Летом 1861 г. я переехал с Васильевского Острова на Большую Мещанскую (ныне Казанскую) в дом против Столярного переулочка. Редакция была у Михайла Михайловича, жившего в Малой Мещанской, в угольном доме, выходившем на Екатерининский канал; а Федор Михайлович поселился в Средней Мещанской. Ап. Григорьев с своею молодою компаниею ютился в меблированных комнатах на Вознесенском проспекте, очень долго в доме Соболевского. Я написал это, чтобы сказать, что нам было близко друг к другу; но мне живо вспомнился тогдашний низменный характер этих улиц, грязноватых и густо населенных петербургским людом третьей руки. Во многих романах, особенно в "Преступлении и наказании", Федор Михайлович удивительно схватил физиономию этих улиц и их жителей.

Среди этих мест, наводящих тоску и отвращение, все мы прожили очень счастливые годы. Когда дело идет хорошо, ничего не может быть занимательнее и возбуждательнее журнальной работы. В ней соединяется вся привлекательность общественной публичной жизни со всею прелестью уединенных размышлений и усилий. Страницы, старательно обдуманые и изготовленные в тишине, вдруг выступают на свет на глаза множества читателей и делаются предметом суждений, из которых многие тотчас же до вас доходят. Особенно тогда было в привычке, что каждый журнал говорил о всех других журналах, так что впечатление всякой статьи обнаруживалось очень быстро. Достоевский, Ап. Григорьев и я могли быть уверены, что в новой книжке журнала непременно встретим свое имя. Соперничество разных изданий, напряженное внимание к их направлениям, полемика, — все это обращало журнальное дело в такую интересную игру, что, раз ее испытавши, нельзя было потом не чувствовать большого желания опять в нее пуститься.

Часа в три пополудни мы сходились обыкновенно в редакции с Федором Михайловичем, он после своего утреннего чаю, а я после своей утренней работы. Тут мы пересматривали газеты, журналы, узнавали всякие новости и часто потом шли вместе гулять до обеда. Вечером в седьмом часу он опять иногда заходил ко мне, к моему чаю, к которому всегда собиралось несколько человек, в промежуток до наступающего вечера. Вообще он чаще бывал у меня, чем я у него, так как я был человек холостой и меня можно было навещать, не боясь никого обеспокоить. Если у меня была готовая статья или даже часть статьи, он обыкновенно настаивал, чтобы я прочел ее. До сих пор слышу его нетерпеливый и ласковый голос, раздававшийся среди шумных разговоров: "Читайте, Николай Николаевич, читайте!" Тогда я, впрочем, не вполне понимал, как много лестного было для меня в этом нетерпении. Он никогда мне не противоречил; я помню всего только один

спор, который возник из-за моей статьи. Но он и никогда не хвалил меня, никогда не выражал особенного одобрения.

Наша тогдашняя дружба хоть и имела преимущественно умственный характер, но была очень тесна. Близость между людьми вообще зависит от их натуры и при самых благоприятных условиях не переходит известной меры. Каждый из нас как будто проводит вокруг себя черту, за которую никого не допускает, или — лучше — не может никого допустить. Так и наше сближение встречало себе препятствие в наших душевных свойствах, причем я вовсе не думаю брать на себя меньшую долю этого препятствия. На Федора Михайловича находили иногда минуты подозрительности. Тогда он недоверчиво говорил: "Страхову не с кем говорить, вот он за меня и держится". Это минутное сомнение показывает только, как твердо мы вообще верили в наше взаимное расположение. В первые годы это было чувство, переходившее в нежность. Когда с Федором Михайловичем случался припадок падучей, он, опомнившись, находился сперва в невыносимо тяжелом настроении. Все его раздражало и пугало, и он тяготился присутствием самых близких людей. Тогда брат его или жена посылали за мной — со мной ему было легко, и он понемножку оправлялся. Вспоминая об этом, я возобновляю в своей памяти некоторые из лучших своих чувств и думаю, что я, конечно, был тогда лучше, чем теперь.

Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие мне достались на долю в жизни. Он говорил тем простым, живым, беспритязательным языком, который составляет прелесть русских разговоров. При этом он часто шутил, особенно в то время; но его остроумие мне не особенно нравилось — это было часто внешнее остроумие, на французский лад, больше игра слов и образов, чем мыслей. Читатели найдут образчики этого остроумия в критических и полемических статьях Федора Михайловича. Но самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость и гордость. Главным предметом их были, конечно, журнальные дела, но, кроме того, и всевозможные темы, очень часто самые отвлеченные вопросы. Федор Михайлович любил эти вопросы, о сущности вещей и о пределах знания, и помню, как его забавляло, когда я подводил его рассуждения под различные взгляды философов, известные нам из истории философии. Оказывалось, что новое придумать трудно, и он, шутя, утешался тем, что совпадает в своих мыслях с тем или другим великим мыслителем.

VI. ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ КАК РОМАНИСТ И ЖУРНАЛИСТ

Не стану говорить о его взглядах и чувствах, относящихся к окружающим делам и явлениям. В своих произведениях он сам выразил лучшую часть своей души. Скажу только, ради некоторых неопытных читателей, что это был один из самых искренних писателей, что все, им писанное, было им переживаемо и чувствуемо, даже с великим порывом и увлечением. Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему. Полной объективности он редко достигал. Для меня, близко его знавшего, субъективность его изображений была очень ясна, и потому всегда наполовину исчезало впечатление от произведений, которые на других читателей действовали поразительно, как совершенно объективные образы.

Часто я даже удивлялся и боялся за него, видя, что он описывает иные темные и болезненные свои настроения. Так, например, в "Идиоте" описаны приступы падучей, тогда как доктора предписывают эпилептикам не останавливаться на этих воспоминаниях, которые могут повести к припадку, как приводит к нему зрелище чужого припадка. Но Достоевский не останавливался ни перед чем, и, что бы он ни изображал, он сам твердо верил, что возводит свой предмет в перл создания, дает ему полную объективность. Не раз мне случалось слышать от него, что он считает себя совершенным реалистом, что те преступления, самоубийства и всякие душевные извращения, которые составляют обыкновенную тему его романов, суть постоянное и обыкновенное явление в действительности и что мы только пропускаем их без внимания. В таком убеждении он смело пускался рисовать мрачные картины; никто так далеко не заходил в изображении всяких падений души человеческой. И он достигал своего, то есть успевал давать своим созданиям настолько реальности и объективности, что читатели поражались и увлекались. Так много правды, психологической верности и глубины было в его картинах, что они становились даже понятными для людей, которым сюжеты их были совершенно чужды.

Часто мне приходило в голову, что если бы он сам ясно видел, как сильно окрашивает субъективность его картины, то это помешало бы ему писать; если бы он замечал недостаток своего творчества, он не мог бы творить. Таким образом, известная доля самообольщения тут была необходима, как почти у всякого писателя.

Но каждый человек имеет, как известно, не только недостатки своих достоинств, но иногда и достоинства своих недостатков. Достоевский потому так смело выводил на сцену жалкие и страшные фигуры, всякого рода душевные язвы, что умел или признавал за собою умение произносить над ними высший суд. Он видел Божию искру в самом падшем и извращенном человеке; он следил за малейшею вспышкой этой искры и прозревал черты душевной красоты в тех явлениях, к которым мы привыкли относиться с презрением, насмешкою или отвращением. За проблески этой красоты, открываемые им под безобразною и отвратительною внешностью, он прощал людей и любил их. Эта нежная и высокая гуманность может быть названа его музою, и она-то давала ему мерило добра и зла, с которым он спускался в самые страшные душевные бездны. Он крепко верил в себя и в человека, и вот почему был так искренен, так легко принимал даже свою субъективность за вполне объективный реализм.

Как бы то ни было, зная его по его личным чувствам и мыслям, я могу свидетельствовать, что он питал своих читателей лучшею кровью своего сердца. Так поступают призванные, настоящие писатели, и в этом заключается их неотразимое действие на читателей, хотя публика часто и воображает, что писатели только хорошо выдумывают и сочиняют, а критика иногда готова предписывать им даже какую-нибудь свою цель, а не ту, какую указывает им их собственное сердце. Поэтому мне думается, что Достоевский, несмотря на несовершенства своих созданий, долго останется глубоко интересным писателем, гораздо более тех, чья муза представляет, по-видимому, больше гармонии и стройности, но зато не имеет такой искренности, такого своеобразия и сердечного порыва. Под музою я разумею тот идеализированный характер, тот склад ума и сердца, который принимает человек, когда начинает писать и творить. Муза и сам человек — два существа различные, хотя они и выросли из одного и того же корня, хотя и срослись теснее сиамских близнецов. Из того, что я сказал, видно, что в Достоевском муза и человек сливались необыкновенно тесно.

Обращаюсь к чисто личным чертам. Никогда не было заметно в нем никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. Он был безусловно чист от всякого дурного чувства по отношению к власти;

авторитет, который он старался поддержать и увеличить, был только литературный; авторитет же пострадавшего человека никогда не выступал, кроме тех случаев, когда во имя его нужно было требовать свободы мысли и слова, доказывать, что его мысли о правительстве никто не имеет права считать потворством или угодливостью. Федор Михайлович вел себя так, как будто в прошлом у него ничего особенного не было, не выставлял себя ни разочарованным, ни сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, как одна дама, в первый раз попавшая на редакционные вечера Михаила Михайловича (кажется, они были по воскресеньям), с большим вниманием вглядывалась в Федора Михайловича и наконец сказала: "Смотрю на вас и, кажется, вижу на вашем лице те страдания, какие вы перенесли..." Ему были видимо досадны эти слова. "Какие страдания!.." — воскликнул он и принялся шутить о совершенно посторонних предметах. Помню также, как, готовясь к одному из литературных чтений, бывших тогда в большой моде, он затруднялся, что ему выбрать. "Нужно что-нибудь новенькое, интересное", — говорил он мне. "Из "Мертвого дома"?" — предложил я. "Я уж часто читал, да и не хотелось бы мне. Мне все тогда кажется, как будто я жалуясь перед публикою, все жалуясь... Это нехорошо".

Вообще он не любил обращаться к прошлому, как будто желая вовсе его откинуть, и если пускался вспоминать, то останавливался на чем-нибудь радостном, как будто хвалился им. Вот почему из его разговоров трудно было составить понятие о случаях его прежней жизни.

В отношении к власти он всегда твердо стоял на той точке, которая так ясна и тверда у всех истинно русских людей. Он давал полную строгость своему суждению, но откладывал всякую мысль о непокорности. Ни сплетничества, ни охоты злословить у него не было, хотя ему случалось с великою горечью и негодованием говорить об иных лицах и распоряжениях. На себе же он переносил и неудобные существующие порядки не только беспрекословно, но часто с совершенным спокойствием, как дело не его лично касающееся, а составляющее общее условие, свойство которого не зависит от этого частного случая. Так, например, я не помню, чтобы он когда-нибудь сильно раздражался против цензуры. Тогда существовала предварительная цензура, то есть каждая статья в корректуре подвергалась исключениям и поправкам цензора. Цензора, конечно, делали при этом много лишнего, по тому естественному побуждению, что им хотелось исполнять долг, совершать некоторый труд, то есть непременно делать поправки и исключения, — если нельзя больших, то хоть маленькие. С другой стороны, они были вообще люди очень любезные, обыкновенно смотревшие с уважением на литературу и очень доступные для авторов. Каждый автор, получивши корректуру с пометками красных чернил, нередко отправлялся с нею к цензору и торговался, отстаивая свои строчки и выражения. Такие случаи были непрерывны, и тут было поприще для всяких раздражений. Но я не помню, чтобы Федор Михайлович когда-нибудь особенно негодовал на подобные случаи. Вообще мы вовсе не старались в нашем журнале о том, чтобы произвести какой-нибудь скандал, обойти цензуру. Что же касается, в частности, до Федора Михайловича, то он принадлежал к числу тех писателей, которые обыкновенно остаются в пределах цензуры, нисколько об ней не думая, а только потому, что слишком серьезны, чтобы позволить себе резкости и личности, останавливающие внимание цензоров.

VII. ЛИБЕРАЛИЗМ — СТУДЕНТСКАЯ ИСТОРИЯ

Вообще никакого следа революционного направления не было в кружке "Времени", то есть не только каких-нибудь помыслов, но и сношений с людьми, замышлявшими недоброе, или какого-нибудь им потворства и одобрения. Все мы, и Федор Михайлович во главе, в самый разгар сумятицы, желали и думали ограничиться только литературною

ролью, то есть трудиться для того нравственного и умственного поворота в обществе, какой считали наилучшим. Мы, в сущности, были очень отвлеченные журналисты, говорили только об общих вопросах и взглядах, в практической же области мы останавливались на чистом либерализме, то есть на таком учении, которое менее всего согласно с мыслью о насильственном перевороте и если настаивает на каких-нибудь изменениях существующего порядка, то добивается этих изменений одним лишь убеждением и вразумлением. Чистый либерализм, как известно, есть вера в то, что отсутствие принудительных мер ведет к наилучшим результатам в общественной деятельности, что тогда интересы всего правильнее уясняются и взаимно уравниваются. Словом, это те начала, которых держатся проповедники свободы мысли, свободы слова, свободы торговли и т. д., начала, очевидно, далеко не объемлющие своего предмета, но такие, которых следует держаться во множестве случаев, везде, где нет ясных оснований для иного образа действия. Поэтому либеральная проповедь возможна и полезна при всякой форме правления, хотя она не дает полной и определенной теории никакого общества. Над этими началами должны господствовать другие начала, имеющие большую силу и неотложность.

Неопределенный, общий либерализм был у нас тогда в большом ходу. Им пробавлялись все журналы, им больше и больше проникалось общество и даже правящие сферы. "Русский вестник", начавшийся с 1856 года, был, можно сказать, школою либерализма; по его книжкам вся Россия училась глядеть на вещи с этой точки зрения, подвергать критике те следствия, какие проистекали от принудительных мер и порядков. Самые реформы прошлого царствования имели преимущественно освободительный характер, снимали юридические и административные стеснения, связывавшие народ и общество. Понятно, что либеральный дух овладел всеми, и так как сперва в этом движении не замечалось ничего дурного, то оно росло все больше и больше.

Невозможно было не заразиться общим оживлением, радостным чувством нарастающей деятельности, простора мыслей и занятий. Нужно вспомнить при этом подвижность и восторженность нашей публики, обыкновенно не знающей меры своим увлечениям. Все кипело и несло шумным потоком. Нет сомнения, что правительство покойного государя было расположено давать все больше и больше свободы этому движению и что мы далеко бы ушли по этому пути, если бы это движение держалось в границах того настоящего либерализма, во имя которого оно совершалось. Но мы оказались недостойными той свободы, какая нам давалась. Или можно сказать — либеральные начала оказались недостаточными для управления нашим обществом, именно слишком трудными для своего понимания и исполнения и нимало не парализующими силы других начал, несколько на них не похожих. Наступило быстрое и ужасное разочарование. Чем кончилась либеральная эпоха, так называемая заря возрождения? Вдруг стали являться прокламации, взывавшие к бунту и разрушению; за прокламациями следовали пожары; за пожарами польское восстание, а через три года первое покушение на жизнь государя.

Привожу все это для того, чтобы со всею точностию обозначить, в чем состоял тот либерализм, которого держалось "Время" и который, следовательно, был разделяем Федором Михайловичем. К сожалению, несмотря на всякие исторические опыты, несмотря на всякие публицистические толки, печатные и устные, у нас господствует величайшая путаница в понятиях, конечно, поддерживаемая нашею учительницею, Европою, и истинный смысл либерализма почти утратился. Что либерал, по сущности дела, должен быть в большинстве случаев консерватором, а не прогрессистом и ни в каком случае не революционером, это едва ли многие знают и ясно понимают. Такой настоящий либерализм Федор Михайлович сохранял до конца своей жизни, как должен его сохранять всякий просвещенный и не ослепленный человек.

Расскажу здесь один из важных случаев того времени, так называемую студентскую историю, разыгравшуюся в конце 1861 года и как нельзя лучше рисующую тогдашнее состояние общества. В этой истории, вероятно, действовали разные внутренние пружины; но я не буду их касаться, а расскажу ее наружный, публичный вид, имевший главное значение для большинства и действующих лиц и зрителей. Университет, вследствие напыла либерализма, кипел тогда жизнью все больше и больше, но, к несчастью, такую, которая топила учебные занятия. Студенты составляли сходки, учредили свою кассу, библиотеку, издавали сборник, судили своих товарищей и т. д.; но все это так их развлекало и возбуждало, что большинство, и даже многие из самых умных и способных, перестали учиться. Было немало и беспорядков, то есть выходов за границы всевозможных льгот, и начальство решилось, наконец, принять меры для прекращения этого хода дел. Чтобы заручиться непререкаемым авторитетом, оно исходатайствовало высочайшее повеление, которым запрещались сходки, кассы, депутаты и тому подобное. Повеление вышло летом, и, когда студенты осенью явились в университет, нужно было привести его в исполнение. Студенты задумали противиться, но решились на то единственное сопротивление, какое допускается либеральными началами, то есть на чисто пассивное. Так они и сделали; они привязывались ко всяким предложениям, чтобы только дать как можно больше работы властям и гласности всему делу. Они очень искусно добились величайшего скандала, какого только можно было добиться. Власти вынуждены были два или три раза забирать их днем, на улице, огромными толпами. К пущей радости студентов, их посадили даже в Петропавловскую крепость. Они беспрекословно подчинились этому аресту, потом суду и, наконец, ссылке, для многих очень тяжелой и долговременной. Сделавши это, они думали, что сделали все, что нужно, то есть что они громко заявили о нарушении своих прав, сами не вышли из пределов законности и понесли тяжкое наказание как будто только за неотступность своих просьб.

Хотя эти юридические понятия в сущности неприменимы к учащимся, но студенты, для поучения остальных граждан, разыграли эту либерально-юридическую драму безукоризненно и с истинным увлечением. Это вовсе не был бунт, хотя бы и в маленьких размерах. Всего интереснее и характернее то, что тогда же нашлись люди, которым очень хотелось обратить эту историю в бунт, что со студентами делались совещания в этом роде, что им предлагалось, например, совершить злодейство, которым правительство было бы поставлено в безвыходное положение, и т. п. Революционные элементы уже назрели в обществе; но на сей раз либерализм сохранил свою чистоту и была лишь совершена громкая демонстрация, как бы публичная жалоба общественному мнению. Ради этого многие молодые люди с веселым сердцем испортили навсегда свое житейское поприще.

Разумеется, весь город только и говорил о студентах. С заключенными дозволялись свидания, и потому в крепость каждый день являлось множество посетителей. И от редакции "Времени" был им послан гостинец. У Михаила Михайловича был зажарен огромный ростбиф и отвезен в крепость с прибавкою бутылки коньяку и бутылки красного вина. Когда студентов, признанных наиболее виновными, стали, наконец, увозить в ссылку, их провожали далеко за город родные и знакомые. Прощание было людное и шумное, и ссыльные большею частью смотрели героями.

История эта потом продолжалась совершенно в том же духе. Университет закрыли, с тем чтобы подвергнуть полному преобразованию. Тогда профессора стали просить позволения читать публичные лекции и без труда получили разрешение. Дума уступила для лекций свои залы, и вот университетские курсы открылись вне университета почти в полном своем составе. Все хлопоты по устройству лекций и все смотрение за порядком

студенты взяли на себя и очень были довольны и горды этим новым, вольным университетом.

Но мысли их были заняты не наукой, о которой они, по-видимому, так хлопотали, а чем-то другим, и это испортило все дело. Поводом к разрушению Думского университета был знаменитый "литературно-музыкальный вечер" в зале Руадзе, 2 марта 1862. Этот вечер был устроен с целью сделать как бы выставку всех передовых, прогрессивных литературных сил. Подбор литераторов сделан был самый тщательный в этом смысле, и публика была самая отборная в том же смысле. Даже музыкальные пьесы, которыми перемежались литературные чтения, были исполняемы женами и дочерьми писателей хорошего направления. Федор Михайлович был в числе чтецов, а его племянница в числе исполнительниц. Дело было не в том, что читалось и исполнялось, а в овациях, которые делались представителям передовых идей.

Шум и восторг был страшный, и мне всегда потом казалось, что этот вечер был высшею точкою, до которой достигло либеральное движение нашего общества, и вместе кульминациею нашей воздушной революции. Один из эпизодов этого вечера был началом быстрого падения и разочарования в нашем тогдашнем прогрессе. Профессор П<авло>в читал на вечере свою статью, которая, как и все, что исполнялось, была предварительно цензурирована; он прочитал ее без изменения, но с такими выразительными интонациями и жестами, что смысл получился вовсе нецензурный. Поднялся радостный гвалт, восторг, невозможный для описания.

И вот на другой день разносится всюду весть, что профессор арестован и выслан из Петербурга. Как тут быть? Как протестовать против такой меры? Студенты довольно последовательно придумали, что высылка одного профессора представляет угрозу другим профессорам, что поэтому они не могут продолжать своих чтений, если не желают показать, что считают своего сотоварища виновным и что сами желают быть невинными перед правительством. Решено было закрыть Думский университет и тем протестовать против стеснений. Это был протест вроде выхода профессоров в отставку, — дело, как известно, беспрестанно повторявшееся в русских университетах, нечто похожее на японское самоубийство. Студенты предполагали, что все общество будет поражено скорбью и гневом, когда вдруг закроется главный источник его просвещения. Профессора согласились на желание студентов и отказались от чтения, кроме одного или двух, которым зато слушатели стали делать скандалы. Наконец, вмешалось начальство и прекратило все дело, запретив вообще профессорам читать публичные лекции.

Какой же был результат всей истории? Тотчас же обнаружилось, что хитрые замыслы возбудить общество и вооружить его против правительства потерпели полную неудачу. Общество не тронулось, и волнение, вместо того, чтобы возрасти, вдруг погасло. Руководители дела слишком наивно воображали, что шум, происходящий в их кружках, есть выражение общего настроения и что так легко будет обмануть публику. В сущности никто серьезно не мог поверить, что правительство есть враг и притеснитель просвещения. Подкладка дела была всем слишком видна, особенно когда в то же время стали одна за другою появляться прокламации, из которых первая считала в России сто тысяч человек помехою общему благополучию, а последняя уже прямо угрожала — "залить улицы кровью и не оставить камня на камне".

Как бы то ни было, правительство, постоянно желавшее сохранить либеральный образ действий, было поставлено в очень трудное положение; оказывалось, что всякая либеральная мера возбуждает в обществе движение, которое пользуется этою мерою для своих целей, не либеральных, а весьма радикальных. Затруднение это прекращено было

только петербургскими пожарами и польским восстанием, когда, наконец, стало ясно, что нельзя терпеть и предоставлять естественному течению зло, принявшее такие ужасающие размеры.

VIII. ПОЛЕМИКА. НИГИЛИЗМ

Во всяком случае, состояние умов в это время, в 1861 и 1862 годах, было в высшей степени возбужденное и почвенники естественно разделяли это возбуждение. Казалось, все старые формы жизни готовы исчезнуть и видоизмениться, и может начаться новая жизнь, народный дух может обнаружиться в новом свободном творчестве. Этим объясняется, почему мы так легко переносили неопределенность нашего катехизиса. Мы пользовались теми преимуществами, которые общество так охотно дает писателям и за которые так усердно держатся сами писатели. Они, как известно, ничему не подчинены и ни к чему не обязаны, кроме внушений своего ума и своей совести. Мы не примыкали ни к какой партии, имеющей практическое дело, практические интересы; мы ясно видели, что нам нужно оставаться в сфере общих отвлеченных вопросов, и так как мы были горячие патриоты и русофилы, то перед нами было множество дела и в литературной критике, и в понимании русской истории и русского быта, и во всевозможных суждениях о Западе и его умственных и политических явлениях, имеющих у нас такое могущественное влияние. В этом отношении нельзя не видеть, что "Время" работало усердно и никак не уклонялось от общей своей задачи.

Неизбежной частью этой задачи была полемика, так как все огромное большинство литературы было западническое, а самое решительное влияние принадлежало журналам, прямо расположенным к нигилизму. Поэтому нигилизм сделался некоторого рода специальностью "Времени"; оно постоянно следило за ним и анализировало его с различных сторон. В промежуток от начала "Времени" до появления романа Тургенева "Отцы и дети" ("Русский вестник" 1862 года, февраль) "Время" успело уже указать на существенные черты нигилизма, на те самые черты, которые в живых образах и сценах с такою меткостью изобразил Тургенев.

Начало борьбы с нигилистическим направлением положил сам Федор Михайлович в своей статье: "—бов и вопрос об искусстве" ("Время" 1861 г., февраль), в которой он опровергал стремление сделать из искусства чисто служебное средство. Он начал с довольно мягких возражений; главным образом он восставал против нарушения законов искусства и против мысли о бесполезности таких художественных произведений, которые не имеют ясной тенденции. Но мне не терпелось и хотелось скорее стать в прямое и решительное отношение к нигилистическим учениям. Могу сказать, что во мне было постоянно какое-то органическое нерасположение к нигилизму и что с 1855 года, когда он стал заметно высказываться, я смотрел с большим негодованием на его проявления в литературе. Уже в 1859 и 1860 году я делал попытки возразить против нелепостей, которые так явно и развязно высказывались; но редакторы двух изданий, куда я обращался, люди хорошо знакомые, решительно отказались печатать мои статьи и сказали, чтобы и вперед я об этом не думал. Я понял тогда, какой большой авторитет имеют органы этого направления, и очень опасался, что такая же участь меня постигнет и во "Времени". Поэтому для меня было большою радостью, когда моя статья "Еще о петербургской литературе", разумеется благодаря лишь Федору Михайловичу, была принята ("Время" 1861 г., июнь); тогда я стал писать в этом роде чуть не в каждой книжке журнала. Рассказываю обо всем этом для характеристики литературы того времени. Сам же я искренно считал эти статейки более забавою, чем делом, и тем веселее они выходили. Со стороны редакции было, впрочем, сначала маленькое сопротивление. В моих статьях иногда редакция приставляла к имени автора, на которого я нападал, какой-нибудь

лестный эпитет, например, талантливый, даровитый, или в скобках: (впрочем, достойный уважения). Были и вставки; так, в статье "Нечто о полемике" было вставлено следующее место:

"Вольтер целую жизнь свистал, и не без толку и не без последствий. (А ведь как сердились на него, и именно за свист.)"

Эта похвала свисту вообще и Вольтеру в частности нарушает тон статьи и выражает вовсе не мои вкусы. Но редакция не могла не вступить за то, что имело силу в тогдашних нравах и на что признавала и за собою полное право. Вставка принадлежит Федору Михайловичу, и я уступил его довольно горячему настоянию. Скоро, впрочем, всякие поправки такого рода вовсе прекратились.

Статьи эти писались под псевдонимом Косицы, — я имел дерзость выбрать себе образцом Феофилакта Косичкина и прилагал большие старания о добросовестности и точности в отношении к предмету своих нападений.

Свиста у меня не было никакого, но тем больше силы получали статьи и тем больше интересовало Федора Михайловича то разъяснение вопроса, которое из них выходило.

Рассказываю обо всем этом потому, что дело это имело чрезвычайно важные последствия: оно повело к совершенному разрыву "Времени" с "Современником", а затем к общей вражде против "Времени" почти всей петербургской журналистики.

Вообще же для нашей литературы, для общественного сознания вопрос о народившемся у нас отрицании был ясно поставлен преимущественно романом Тургенева "Отцы и дети", тем романом, в котором в первый раз появилось слово нигилист, с которого начались толки о новых людях, и, словом, все дело получило определенность и общеизвестность. "Отцы и дети", конечно, самое замечательное произведение Тургенева — не в художественном, а в публицистическом отношении. Тургенев постоянно следил за видоизменениями господствовавших у нас настроений, за теми идеалами современного героя, которые складывались в передовых и литературных кружках, и на этот раз совершил решительное открытие, нарисовал тип, которого прежде почти никто не замечал и который вдруг все ясно увидели вокруг себя. Изумление было чрезвычайное, и произошла сумятица, так как изображенные были застигнуты врасплох и сперва не хотели узнавать себя в романе, хотя автор вовсе не относился к ним с решительным несочувствием. Но молодому поколению этого было мало; оно требовало, наоборот, безусловного сочувствия и с великим шумом объявило Тургенева, первое имя в литературе, человеком отсталым и противником общего дела. Среди тогдашних непрерывных разговоров и споров много раз мне приходилось доказывать разным нигилистам, что если они хотят быть последовательными, то должны держаться именно тех мнений, какие исповедует Базаров, герой Тургенева. Большинство публики, как всегда, очень горячилось, но имело сбивчивые, пестрые понятия о деле, и самые ярые приверженцы нигилистического направления вовсе не подозревали, например, что наука и искусство тоже должны быть приносимы в жертву их идолу.

Во "Времени" была напечатана (1862 г., апрель) моя статья, в которой превозносился Тургенев, как чисто объективный художник, и доказывалась верность изображаемого им типа. Тотчас после появления статьи приехал в Петербург Тургенев, по обыкновению собравшийся проводить лето в России. Он навестил и редакцию "Времени", застал нас в сборе и пригласил Михаила Михайловича, Федора Михайловича и меня к себе обедать, в гостиницу Клея (что ныне Европейская). Буря, поднявшаяся против него, очевидно, его

тревожила. За обедом он говорил с большою живостью и прелестью, и главною темою были отношения иностранцев к русским, живущим за границею. Он рассказывал с художественной картинностью, какие хитрые и подлые уловки употребляют иностранцы, чтобы обирать русских, присвоить себе их имущество, добиться завещания в свою пользу и т. д. Много раз потом мне приходил на мысль этот разговор, и я жалел, что эти тонкие наблюдения и, конечно, множество подобных им, собранных во время долгого жития за границею, остались не рассказанными печатью.

Известно, как затем разыгралось дело об нигилизме. На Тургенева сыпался в продолжение нескольких лет целый дождь всяких упреков и брани. Сам он был долго смущен и целые пять лет, до "Дыма" (1867 г.), ничего не писал в роде своих прежних публицистических романов, да и вообще очень мало писал. Между тем в 1866 году появилось "Преступление и наказание", в котором с удивительною силой изображено некоторое крайнее и характерное проявление нигилизма, и с этого романа до предсмертной "Легенды об великом инквизиторе" идет у Достоевского разнообразный и глубокий анализ нашего нравственного и умственного шатания. Если взглянуть на дело с этой точки зрения, то за Достоевским нужно признать огромную заслугу литературе и обществу. Он один взял задачу во всей глубине и ширине, — захватил все виды и крайности той глупости и безнравственности, которая развивается в русских людях, когда они покидают родную почву, то есть отрекаются от покорности России и преданности христианскому духу. Он заглянул в душу этих людей и изобразил борьбу их заблуждений с добрыми началами, еще живущими в их душе. Религиозный элемент, а также склад народной нравственности, народного патриотизма ясно выступают как противовес, как убежище и спасение от хаоса и бессмыслицы выветрившегося слоя общества. Все дело взято широко, тонко, глубоко, притом с постоянным обращением к вековечным задачам души человеческой, с художественными попытками уловить и самые возвышенные, и самые смрадные тайны людских сердец. Не мудрено, что такой писатель, такой публицист стал, наконец, чрезвычайно занимать читателей, несмотря на то, что по художественным достоинствам его произведения уступали некоторым из современных им произведений других авторов.

При этом общем очерке отношений нашей литературы к нигилизму я указываю и свою маленькую роль — прошу читателя верить — не столько для похвальбы, сколько для уяснения хода дела. Тотчас после обеда у Тургенева вышла апрельская книжка "Современника" с большою статьею "О духе "Времени", в высшей степени резкою и направленною исключительно против меня, так что по тогдашним литературным понятиям я был убит окончательно. Сперва я принял это нападение совершенно хладнокровно, но, признаюсь, я потом немножко уныл, когда увидел, что многие добрые мои знакомые, даже из числа наиболее любивших меня, стали посматривать на меня с сожалением и вовсе не хотели разделять моей бодрости. Между тем, судя по всему, а особенно издали, теперь, можно сказать, что статья против "Времени" была, так сказать, одною из первых осечек "Современника". Он тогда был в самом воинственном духе и с начала года принялся за казни; в первой книжке совершена была казнь над московским профессором философии Юркевичем, во второй — над славянофилами, в третьей — над Тургеневым, в четвертой — над "Временем", то есть именно надо мною. В статье было даже тщательно заявлено, что ее упреки и порицания не простираются на роман "Униженные и оскорбленные" и на "Записки из Мертвого дома". Таким образом, мне досталось весьма почетное место в числе главных врагов, или, пожалуй, главных жертв "Современника". Эта честь заслужена мною именно тем анализом нигилистического направления, которым я с таким усердием занимался. И к этому же анализу больше, чем к некоторым положительным взглядам, я отношу то лестное слово, которое мне сказал однажды Федор Михайлович, уже гораздо позже, когда наша дружба была холоднее, во времена редактирования им "Гражданина". Он требовал от меня, чтобы я больше писал, и

когда я сказал, что у меня мало мыслей, для того чтобы так много писать, он возразил: "Как мало мыслей? Да половина моих взглядов — ваши взгляды!" Понятно, что это замечание, сказанное сердитым тоном, сохранилось в моей памяти как большая похвала, и я приписываю ее больше всего моему упорному стоянию против нигилизма. Люди с художественным складом ума часто видят большое достоинство в логическом развитии мыслей, к которому сами они мало расположены, и когда в основах есть совпадение, как в большинстве случаев было у нас с Федором Михайловичем, то художникам бывает очень приятно отвлеченная формулировка их идей и чувств.

Я отвечал "Современнику" в майской книжке "Времени". Но "Современнику" угрожала в это время гораздо большая беда. Тогда уже шло дело Н. Г. Чернышевского, подвергнувшегося подозрению, что он участвовал в прокламациях. И, почти вслед за самой ярою из прокламаций, обещавшею залить улицы кровью и не оставить камня на камне, начались петербургские пожары. Это была самая ужасная минута нашей воздушной революции, брожения, возникшего в оторвавшихся от почвы умах и душах. По какой-то связи, по подозрению или обвинению, "Современник" был признан вредным изданием и в июне был закрыт на восемь месяцев.

Это закрытие истинно огорчило нас. У нас был отнят противник, борьбе с которым мы приписывали важное значение. Мы знали очень хорошо, что, несмотря на его молчание и даже в силу этого вынужденного молчания, его направление продолжает все усиливаться и развиваться; но у нас не было уже под руками самого авторитетного и ясного представителя этих мнений. Таким образом, вмешательство власти разрушало наши внутренние, так сказать, домашние расчеты. Предварительная цензура, под которой тогда все писали, конечно, была помехою для ясного выражения всяких взглядов и была больше всего благоприятна для учений отрицательных, для которых достаточно намек, насмешливого оборота речи, фигуры умолчания, чтобы читатель прочел между строками несложную и удобопонятную формулу отрицания. Вся масса нигилистических учений со всеми их видами прошла в нашу литературу под предварительною цензурою. Положительным учениям было труднее; но при небольшой литературной ловкости мы мало тяготились цензурою и работали довольно весело, принимая борьбу даже при неравных условиях. Закрытие же "Современника" выбивало нас совершенно из колеи.

Но кроме этого домашнего огорчения, общее течение дел было очень тяжелое и грустное. Пожары наводили ужас, который трудно описать. Помню, мы вместе с Федором Михайловичем отправились для развлечения куда-то на загородное гулянье. Издали, с парохода, видны были клубы дыма, в трех или четырех местах подымавшиеся над городом. Мы приехали в какой-то сад, где играла музыка и пели цыгане. Но, как мы ни старались позабавиться, тяжелое настроение не проходило, и я скоро стал проситься домой. В поджогах трудно сомневаться, но это дело, как и другие страшные события той эпохи, почему-то осталось совершенно покрытым мраком.

IX. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Летом этого года (1862), 7-го или 8-го июня, Федор Михайлович пустился в свою первую поездку за границу. Припомню, что могу, из этой поездки; сам он описал ее впечатления в статье "Зимние заметки о летних впечатлениях". Он поехал в Париж, а потом в Лондон, где виделся с Герценом, как сам о том упоминает в "Дневнике" "Гражданина" ?. К Герцену он тогда относился очень мягко, и его "Зимние заметки" отзываются несколько влиянием этого писателя; но потом, в последние годы, часто выражал на него негодование за неспособность понимать русский народ и неумение ценить черты его быта. Гордость просвещением, брезгливое пренебрежение к простым и добродушным нравам — эти

черты Герцена возмущали Федора Михайловича, осуждавшего их даже и в самом Грибоедове, а не только в наших революционерах и мелких обличителях.

Из-за границы я получил тогда от Федора Михайловича письмо, которое привожу здесь вполне, как носящее на себе следы всех тогдашних обстоятельств.

Париж, "26 июня /8 июля/ 62.

Вы в первых числах июля трогаетесь за границу, дорогой Николай Николаич. С Богом; уж одно то, что к тому времени Вы непременно попадете на прекрасную погоду, так как теперь она везде, по всей Европе скверная; но как вспомню: на кого ж Вы оставите Михаила Михайловича, так даже жутко станет. Голубчик Николай Николаевич, пора теперь скверная, как Вы пишете, — пора томительного и тоскливого ожидания. Но ведь журнал дело великое; это такая деятельность, которою нельзя рисковать, потому что, во что бы ни стало, журналы как выражение всех оттенков современных мнений должны остаться. А деятельность, то есть что именно делать, о чем говорить и что писать, — всегда найдется. Господи! как подумаешь, сколько еще не сделано и не сказано, и потому сижу здесь и рвусь отсюда, из так называемого прекрасного далека, хоть не телом, так духом, к Вам, в Россию. Всякий, всякий должен делать теперь и, главное, попасть на здравый смысл. Слишком у нас перепутались в обществе понятия. Недоумение наступило какое-то. Вы пишете, дорогой Николай Николаевич, что хотите съездить предварительно в Москву. Чтоб не опутали Вас там сенаторы журналистики! Чего доброго, Катков соблазнит Вас какой-нибудь разлинованной по безбрежному отвлеченному полю доктриной... Нет, нет, я ведь шучу. Ах, голубчик, родной мой, как бы хотелось с Вами здесь увидеться! И знаете что: мне кажется, это совершенно возможная и должная вещь. Штука в том, чтоб не сбиться в адресах. Главное дело в том, чтоб помнить числа. 15-го июля (нашего стиля), но не раньше, я выезжаю из Парижа в Кельн. День пробуду в Дюссельдорфе, потом на пароходе вверх по Рейну до Майнца, а там в Oberland, то есть, может быть, в Базель и проч. Значит, 18 или 19-го числа нашего стиля я в Базеле, а 20, 21 или 22-го в Женеве. Следственно, всякое письмо Ваше, откуда бы то ни было, если придет в Париж не позже 15-го июля, застанет меня там, и я буду знать, где Вас найти. Даже так, например, Вы мне напишете, положим, из Берлина или Дрездена, что такого-то числа будете там-то (а это Вы можете рассчитать всегда, дней на десять вперед), там я и буду Вас искать. А если Вы сделаете еще такую вещь: купите себе guide Рейхарда, так что в каждом городе будете знать, какие отели (и какие в них цены), то, например, будучи в Берлине и пиша ко мне, напишите: остановлюсь в Женеве такого-то числа и в такой-то гостинице. Так что я и буду уж спрашивать о Вас в этой гостинице. Вы, может быть, приехав в Женеву, и не остановитесь в этой гостинице, найдете ее неудобной и остановитесь в другой, но это Вам нисколько не помешает оставить в прежней (условленной) гостинице свой адрес, для тех, кто о Вас спросит (то есть для меня), и дадите за это portier гостиницы какой-нибудь франк на водку, и таким образом я Вас непременно найду. Как любопытно мне тоже узнать Ваш маршрут. Ах, Николай Николаевич, Париж прескучнейший город, и если б не было в нем очень много действительно слишком замечательных вещей, то, право, можно бы умереть со скуки. Французы, ей-богу, такой народ, от которого тошнит. Вы говорили о самодовольно-наглых и г<--->ных лицах, свирепствующих на наших минералах. (11) Но клянусь Вам, что тут стоит нашего. Наши — просто плотоядные подлецы и большею частью сознательные, а здесь он вполне уверен, что так и надо. Француз тих, честен, вежлив, но фальшив и деньги у него — всё. Идеала никакого. Не только убеждений, но даже

размышлений не спрашивайте. Уровень общего образования низок до крайности (я не говорю про присяжных ученых. Но ведь тех немного; да и, наконец, разве ученость есть образование, в том смысле, как мы привыкли понимать это слово?). Вы, может быть, посмеетесь, что я так сужу, всего еще только десять дней пробыв в Париже. Согласен; но 1) то, что я видел в эти десять дней, подтверждает покамест мою мысль, и во 2-х) есть некоторые факты, которых заметить и понять достаточно полчаса, но которые ясно обозначают целые стороны общественного состояния, а именно тем, что эти факты возможны, существуют.

Заедете ли Вы в Париж? Заметьте: на три дня в Париж ехать не стоит, а посвятить ему две недели, если Вы только турист, будет скучно. За делом сюда ехать можно. Много есть чего посмотреть, изучить. Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже и потому хочу, не теряя времени, обозреть и изучить его не ленясь, сколько возможно для простого туриста, каков я есмь. Не знаю, напишу ли что-нибудь? Если очень захочется, почему не написать и о Париже, но вот беда: времени тоже нет. Для порядочного письма из-за границы нужно все-таки дня три труда, а где здесь взять три дня? Но там что будет.

Еще, голубчик Николай Николаевич: Вы не поверите, как здесь охватывает душу одиночество. Тоскливое, тяжелое ощущение! Положим, Вы одинокий человек, и Вам особенно жалеть будет некого. Но опять-таки: чувствуешь, что как-то отвызаясь от почвы и отстал от насущной, родной канители, от текущих собственных семейных вопросов. Правда, до сих пор всё мне не благоприятствовало за границей: скверная погода и то, что я все еще толкусь на севере Европы и из чудес природы видел один только Рейн с его берегами (Николай Николаич! Это действительно чудо). Что-то будет дальше, как спущусь с Альпов на равнины Италии. Ах, кабы нам вместе: увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле (А? Николай Николаевич?). Но... "ничего, ничего, молчанье", как говорит, в этом же самом случае, Поприщин.

До свидания, Николай Николаевич. О заграничных впечатлениях моих не сообщаю Вам никаких подробностей. Всего не опишешь в письме, а по частям и не могу. Да и какие еще мои впечатления-то! Я еще всего девятнадцать дней за границей. Обнимаю Вас от всей души. Передайте мой поклон добрейшему, милому Тиблену (которого, я не знаю за что, я как-то стал любить в последнее время) и милой, бесконечно уважаемой Евгении Карловне. Как ее здоровье? (12) Да кстати: если Вы поедете в Москву, то, пожалуй, письмо мое и не застанет Вас в Петербурге. Во всяком случае и адресую в редакцию "Времени".

Прощайте. Впрочем, лучше: до свидания. Быть того не может, чтоб мы за границей не встретились! Я никогда не простил бы себе этого. Крепко жму Вам руку. Поклонитесь от меня всем общим нашим знакомым. Как ведет себя Ваш неблаговоспитанный кот? Addio.

Ваш Ф. Достоевский".

На это письмо я обещал быть к сроку в Женеве. Я выехал в половине июля, остановился дня на два, на три в Берлине, потом столько же в Дрездене и прямо проехал в Женеву. Чтобы отыскать Федора Михайловича, я употребил известный способ: пошел гулять по набережной и заходить в самые видные кофейни. Кажется, в первой же из них я нашел его. Мы очень обрадовались друг другу, как люди давно скучавшие среди чужой толпы, и

принялись так громко разговаривать и хохотать, что встревожили других посетителей, чинно и молчаливо сидевших за своими столиками и газетами. Мы поспешили уйти на улицу и стали, разумеется, неразлучны. Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать; его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры, да разве общее впечатление уличной жизни. Он горячо стал объяснять мне, что презирает обыкновенную, казенную манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места. И мы действительно ничего не осматривали, а только гуляли, где полуднее, и разговаривали. У меня не было определенной цели, и я тоже старался уловить только общую физиономию этой ни разу еще мною не виданной жизни и природы. Женеву Федор Михайлович находил вообще мрачною и скучною. По моему предложению, мы съездили в Люцерн; мне очень хотелось видеть озеро Четырех Кантонов, и мы делали увеселительную поездку на пароходе по этому озеру. Погода стояла прекрасная, и мы могли вполне налюбоваться этим несравненным видом. Потом мне хотелось быть непременно во Флоренции, о которой так восторженно писал и рассказывал Ап. Григорьев. Мы пустились в путь через Монсенис и Турин в Геную; там сели на пароход, на котором приехали в Ливорно, а оттуда по железной дороге во Флоренцию. В Турине мы ночевали, и он своими прямыми и плоскими улицами показался Федору Михайловичу напоминающим Петербург. Во Флоренции мы прожили с неделю в скромной гостинице Pension Suisse (Via Tomabuoni). Жить здесь нам было недурно, потому что гостиница не только была удобна, но и отличалась патриархальными нравами, не имела еще тех противных притязаний на роскошь и тех приемов обирания и наглости, которые уже порядочно в ней процветали, когда в 1875 году я опять остановился в ней по старой и приятной памяти. И тут мы не делали ничего такого, что делают туристы. Кроме прогулок по улицам, здесь мы занимались еще чтением. Тогда только что вышел роман В. Гюго "Les Misérables", и Федор Михайлович покупал его том за томом. Прочитавши сам, он передавал книгу мне, и тома три или четыре было прочитано в эту неделю. Однако мне хотелось не упустить случая познакомиться с великими произведениями искусства, попробовать при спокойном и внимательном рассматривании угадать и разделить восторг, созидавший эту красоту, и я несколько раз навестил galleria degli Uffizi. Однажды мы пошли туда вместе; но так как мы не составили никакого определенного плана и нимало не готовились к осмотру, то Федор Михайлович скоро стал скучать, и мы ушли, кажется не добравшись даже до Венеры Медицейской. Зато наши прогулки по городу были очень веселы, хотя Федор Михайлович и находил иногда, что Арно напоминает Фонтанку, и хотя мы ни разу не навестили Кашин. Но всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина. Упомянув о вине (которое на этот раз было малым чем крепче пива), замечу вообще, что Федор Михайлович был в этом отношении чрезвычайно умерен. Я не помню во все двадцать лет случая, когда бы в нем замечен был малейший след действия выпитого вина. Скорее он обнаруживал маленькое пристрастие к сладостям; но ел вообще очень умеренно.

За обедом в нашем Pension Suisse произошла и та сцена, которая описана в "Заметках" на стр. 423 ("Сочинения", т. III). Помню до сих пор крупного француза, первенствовавшего в разговоре и действительно довольно неприятного. Но речам его придана в рассказе слишком большая резкость; и еще опущена одна подробность: на Федора Михайловича так подействовали эти речи, что он в гневе ушел из столовой, когда все еще сидели за кофе.

Из "Заметок" самого Достоевского читателя всего яснее увидят, на что было направлено его внимание за границею, как и везде. Его интересовали люди, исключительно люди, с их душевным складом, с образом их жизни, их чувств и мыслей.

Во Флоренции мы расстались; он хотел, если не ошибаюсь, ехать в Рим (что не состоялось), а мне хотелось хоть неделю провести в Париже, где он уже побывал. К тем чертам бдительности французской полиции, которые приводит Федор Михайлович, прибавлю еще черточку. На пароходе, на котором я ехал из Генуи в Марсель, через несколько часов после отъезда, когда уже совсем стемнело, вдруг от меня потребовали мой вид, и только от меня одного. Помню, как это удивило некоторых пассажиров и как кто-то предложил мне объяснение, что во Франции боятся разных приезжих. Может быть, полицию обмануло в этом случае какое-нибудь сходство.

Х. ТРЕТИЙ ГОД ЖУРНАЛА — ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО

В сентябре, когда мы вернулись в Петербург, редакция наша оказалась в полном сборе: еще в середине лета вернулся из Оренбурга Ап. Григорьев. Все принялись работать как могли и как умели, и дело шло так хорошо, что можно было радоваться. Первым делом Федора Михайловича было написать для сентябрьской книжки то длинное объявление об издании "Времени" в 1863 году, которое читатели найдут в "Приложениях" к этому тому. Оно очень хорошо написано, с искренностью и воодушевлением. Главное содержание, кроме настоящего повторения руководящей мысли журнала, состоит в характеристике противников. По терминологии Ап. Григорьева, одни из них называются теоретиками — это нигилисты; другие доктринерами — это ортодоксальные либералы, например, тогдашний "Русский вестник". Почти все объявление посвящено именно теоретикам и обличителям. Есть, однако, и оговорка об уважении, так же как и в предыдущем объявлении на 1862 год. Объявление на 1863 год имело большой успех, то есть возбудило литературные толки, большею частью враждебные. Живописное выражение об "кнутике рутинного либерализма" было подхвачено мелкими журналами, понявшими, что речь идет об них.

Следующий год, 1863-й, был важною эпохою в нашем общественном развитии. В начале января вспыхнуло польское восстание и привело наше общество в великое смущение, разрешившееся крутым поворотом некоторых мнений. При либеральном настроении не только общества, но и правительственных лиц на польский вопрос сперва никак не умели установить правильного взгляда. Вопрос распадался на две части: во-первых, что делить с поляками? во-вторых, что такое Западный край? Польша, лишенная самостоятельности, представлялась источником неизбежных потрясений; немало патриотов давно говорили, что, присоединив к России Польшу, мы приняли ее внутрь, как какое-нибудь вредно действующее лекарство. Поэтому и в "Дне" и в "Московских ведомостях", начавших с этого года выходить под нынешнею редакциею, сначала было высказано замечание, что, может быть, лучший способ развязать узел — откинуть от себя Польшу, предоставить ее своей судьбе. Но открылись притязания поляков на Западный край, и эти притязания, с одной стороны, показали невозможность какой бы то ни было полюбовной развязки дела, а с другой — смутили многое множество образованных людей, которые, по своему глубокому невежеству в этом деле, готовы были сдать на эти притязания. Две названные московские газеты скоро установили правильный взгляд на дело, особенно "День" был тогда чрезвычайно полезен своими толкованиями и также сведениями с самого места событий. Произошел резкий перелом в обществе: патриотизм заговорил очень горячо; "Московские ведомости" своими энергическими статьями поддержали решения правительства; беспочвенные либералы потеряли вес, и Герцен, вздумавший стоять за поляков, навсегда упал в мнении читателей.

Петербургская литература с самого начала восстания почти сплошь молчала, или потому, что не знала, что говорить, или даже потому, что со своих отвлеченных точек зрения готова была даже прямо сочувствовать притязаниям восставших. Это молчание очень

раздражало московских патриотов и людей, настроенных патриотически в правительственных сферах. Они чувствовали, что в обществе существует настроение, враждебное государственным интересам той минуты, и справедливо питали гнев против такого настроения. Этот гнев должен был обрушиться на первое такое явление, которое достаточно ясно обнаруживало бы тайные чувства, выражаемые пока одним молчанием. Он и обрушился, но по недоразумению упал не на виновных: неожиданная кара поразила журнал "Время".

Нужно прямо сознаться, что этот журнал дурно исполнял обязанности, предлежавшие тогда всякому журналу, а особенно патриотическому. "Время" 1863 было замечательно интересно в литературном отношении; книжки были не только очень толсты, но и очень разнообразны и наполнены хорошими вещами. Но о польском вопросе ничего не было написано. Первою статьею об этом деле была моя статья "Роковой вопрос" в апрельской книжке, и она-то была понята превратно и повела к закрытию журнала.

Разумеется, ни у братьев Достоевских, ни у меня не было и тени полонофильства или желания сказать что-нибудь неприятное правительству. Мысль статьи была та, что нам следует бороться с поляками не одним вещественным, но и духовными орудиями и что окончательное разрешение дела наступит лишь тогда, когда мы одержим над поляками духовную победу. Польский вопрос, больше чем всякий другой, требует участия и всех наших внутренних сил, напоминает нам наше различие от Европы, требует уяснения и развития наших самобытных начал. На деле, в жизни, мы бесконечно превосходим поляков; нужно привести эту нашу мощь к сознанию, нужно почерпнуть из нее ясные формы умственного и культурного развития.

Достоевские оба были сначала очень довольны моею статьею и хвалились ею. В сущности, она была продолжением того дела, которым мы вообще занимались, то есть возведением вопросов в общую и отвлеченную формулу. Но жизнь со своими конкретными чувствами и фактами шла так горячо, что на этот раз не потерпела отвлеченности. Эта несчастная статья в этом отношении, конечно, была очень дурно написана. После запрещения журнала Федор Михайлович слегка попрекнул меня за сухость и отвлеченность изложения, и меня тогда слегка обидело такое замечание; но теперь охотно признаю его справедливость. Если сам И. С. Аксаков был на минуту введен в недоразумение, то, конечно, я был виноват.

Мне горько подумать о том огорчении, которое я невольно причинил многим патриотическим людям. Но еще великим наказанием мне было то, что меня принимали часто за полонофила и по этой причине обращались со мною с особым уважением. Это мне было больнее всех тех презрительных взглядов и холодностей, которых столько я вынес, даже от иных близких знакомых, за противоположные свойства, за то, что был в их глазах консерватором и ретроградом. Это смутное состояние умов, эта крутая и узкая постановка всех вопросов, эта поразительная скудость категорий для суждения встречается во всяком обществе и имеет большую силу в нашем. Конечно, это есть великое зло, мешающее развитию мысли и литературы. На цензуру тут нельзя особенно жаловаться; она едва ли может быть выше того общества, среди которого существует. Напротив, справедливее укорять тех, кто вообще не расширяет, а обостряет вопросы, не раскрывает дело, а старается его скомкать.

Чтобы пояснить неприятное впечатление, произведенное тоном моей статьи, решаюсь прибавить еще несколько строк. С детства я был воспитан в чувствах безграничного патриотизма; я рос вдали от столиц, и Россия всегда являлась мне странною, исполненною великих сил, окруженною несравненно славою, первую страну в мире, так что я в

ведомостях". Заметка была принята, набрана, но — цензор уже не решился ее пропустить. Вот что стояло в ней:

"ОТВЕТ РЕДАКЦИИ "ВРЕМЕНИ" (13) НА НАПАДЕНИЕ "МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ"

В № 109 "Московских ведомостей" есть против нас статья по поводу нашей статьи "Роковой вопрос" ("Время" № 4), полная клевет и... намеков. Подписано Петерсон.

Вот эта статья от слова до слова:

"Такая статья, как "Роковой вопрос", не должна была явиться без подписи автора. Только бандиты наносят удары с маской на лице. Quand on a son opinion, il faut en avoir le courage.

Вся статья основана на ложных показаниях, а следовательно, и выводы должны быть ложны. Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще? Разве не ложь говорить, что поляки с целью распространить цивилизацию завладели Украиной и Москвой? Странно, что с подобною благородною жаждой относительно чужих народов поляки с своими собственными крестьянами обращались как с скотами? Неужели поляки считали средством цивилизации отдачу на откуп жидам церковей Малороссии? Никогда Польша вся не восставала; восставала только шляхта и ксендзы, а масса народа, то есть крестьяне, никогда не сочувствовали панам, потому что раб своему угнетателю сочувствовать не может. Вся история Польши доказывает, что этот цивилизованный народ никогда не имел политического такта, а варварская Россия еще в 1612 году доказала, что в высшей степени обладает этим тактом. На чьей же стороне перевес государственного ума? Теперь бунтует только частица Польши, и вся Россия единодушно дает ей отпор. Не может ли другой подумать, что в подписи статьи словом: "Русский" таится коварный умысел? Разумеется, поляки поторопятся перевести эту статью на все языки Европы и скажут: "Вот видите ли, как сами русские думают. Не правы ли мы?" Поди потом разуверь Европу. Она и без того закидала нас грязью и клеветой.

Редакция журнала "Время" имела полное право напечатать статью "Роковой вопрос", но, печатая статью безымянного автора, она сделала бы очень хорошо, если б оговорилась: согласна ли она или нет с мнением автора, имя которого, если б оно было известно, произносилось бы с презрением каждым истинно русским".

Мы бы, разумеется, не стали отвечать г-ну Петерсону ни даже "Московским ведомостям". Мы давно уже стараемся ничего не говорить ни о "Русском вестнике", ни о "Московских ведомостях". Но... обстоятельства. Надо предупредить дурные последствия.

Итак, г-н Петерсон, вы изволите говорить, во-первых, что статья наша основана на ложных показаниях. Что же в ней ложно? Вы не потрудились объяснить, в чем состоят эти ложные показания. Вы только говорите: "Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще?"

Но что же это означает и какая ж тут может быть ложь? Почему ложь?

Для нас, между прочим, тем-то и важен этот вопрос, что поляки со всей своей (бесспорной) европейской цивилизацией "носили смерть в самом своем корне". В статье нашей это сказано ясно, слишком ясно, и указано, почему это так. Именно: потому, "что эта цивилизация была не народной, не славянскою, что в ней не было никакой

самобытности, и потому она не могла слиться в крепкое целое с народным духом". (14) Вот тут невозможно не сопоставить, что цивилизация в Польше была цивилизацией общества высшего и лишена была земских элементов, удалилась от народного духа, как у нас сказано.

И что же мы проповедовали целые три года в нашем журнале? Именно то, что наша (теперешняя русская) заемная европейская цивилизация, в тех точках, в которых она не сходится с широким русским духом, не идет русскому народу. Что это значит втискать взрослого в детское платье. Что, наконец, у нас есть свои элементы, свои начала, народные начала, которые требуют самостоятельности и саморазвития. Что русская земля скажет свое новое слово, и это новое слово, может быть, будет новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собою цивилизацию всего славянского мира. Мы так верим, мы так говорили. В элементах нашей народной цивилизации мы всегда видели признаки земщины, тогда как в европейской — признаки аристократизма и исключительности. Мало того, мы признаем, что мы, то есть все цивилизованные по-европейски русские, оторвались от почвы, чутье русское потеряли, до того, что не верим в собственные русские силы, не верим в свои особенности, падаем ниц, как рабы, перед петровской Голландией, смеемся над словом "народные начала", считаем его ретроградством, мистицизмом.

Таковы и вы, г-н Петерсон. Мы в нашей статье посягнули на то, на что бы вы и во сне не решились, на то, что серьезно и искренно уважал даже император Александр I, который именно во имя уважения к польской цивилизации дал полякам высшее устройство, чем русским, считая русских гораздо ниже образованными поляков.

Ну так вот мы даже на это посягнули, на самую их европейскую цивилизацию, на самую их образованность, на самую их гордость и славу. Если для поляков и для вас, г-н Петерсон, она все еще гордость и слава, то мы-то ее, эту польскую цивилизацию, в грош не ставим. Для того-то и вся статья наша написана. А вы и не догадались? Мы вам скажем, почему вы не догадались: потому именно, что вы сами благоговеее перед польской цивилизацией, потому что вы ревнуете к ней, завидуете ей. Вы обиделись. "И мы, дескать, тоже образованные"... А почему вы обиделись? Да именно потому, что у вас и в воображении никогда не было другой мерки достоинства и развития русского, кроме европейской цивилизации *quand m'kme*. Вы ее только одну и признаете. Вы не признаете национального развития, вы не признаете самостоятельности народных начал в русском племени и, во имя вашего англоязычного патриотизма, обижаетесь, что поляки нас образованнее, в европейском смысле, другими словами, что русские упорно хотят остаться русскими и не обратились по приказу в немцев или французов. Да ведь это-то и хорошо; но ведь поляков-то и сгубила их цивилизация. Несмотря на всю их гордость этой цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже нет воскресения, хотя бы они и сделались политически независимыми.

Европейская цивилизация, которая есть плод Европы и, в сущности, на своем месте в Европе, — в Польше (может быть, именно потому, что поляки славяне) развила антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. Она развила у них преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм, да тем и порешила. Мало того: нигде, может быть, католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в Польше. Что же вы пишете: "Разве не ложь говорить, что поляки с целью распространить цивилизацию завладели Украиной и Москвой?" А то как же? Неужели вы этого не понимали до сих пор? У них вся цивилизация обратилась в католицизм, а мало ли они жгли да кожи сдирали с русских за католицизм? Мало ли они донимали нас, плевали на нас как на хлопков и за людей нас не считали? Из-за чего это было, как вы думаете?

Именно из католической пропаганды, из ярости уловлять прозелитов, из ярости ополячить и окатоличить. Ясное дело, что народ, который за людей не считает людей другой веры, не уважает ничего так высоко, как себя и свою веру, а следовательно, и способен употребить всё, чтоб обратить всех в свою веру. Обращенные русские дворяне становились тотчас же панями, а прочие были только хлопами. Само собою разумеется, что поляки должны были считать это не только благородным, но даже святейшим делом, гордиться им, теперь этим славятся, а вы и теперь считаете это благородным и прекрасным поступком, то есть пропаганду, да не с точки зрения поляков, а сами от себя считаете. Это ясно в вашей статье высказано, г-н Петерсон.

Мы в нашей статье "Роковой вопрос" стали на точку зрения поляков и сказали, что они, страстно преданные и верующие в свою (аристократическую и католическую) цивилизацию, должны надмеваться ею, гордиться ею перед нами, которых они до сих пор считают за хлопов и варваров, и даже тем более гордиться, чем более они принижены перед нами, считать наше первенство за вопиющую несправедливость судьбы и восставать против этой судьбы; что ж, разве это именно не так, с их точки зрения? Ведь это факт, ведь факта не спрячешь в карман. Да в этом весь и вопрос, может быть, заключается, именно весь, весь! Где ж им понять, допустить и уверовать, что русская земля, может быть, включает в себе земские начала, не низшие начал западной цивилизации? Ведь этого и Европа не допускает и нас постоянно не любит, терпеть даже нас не может. Мы никогда в Европе не возбуждали симпатии, и она, если можно было, всегда с охотою на нас ополчалась. Она не могла не признать только одного: нашу силу, — и эта физическая, материальная сила (так по крайней мере Европа должна была смотреть на нас) всегда возбуждала в ней негодование. Да ведь и не одна Европа. Разве вы сами не судите о русских точно так же, как судит о нас Европа? Мы еще два года назад укоряли "Русский вестник", что он русской народности не признает. Теперь московский теймс горячится и не замечает, что вся эта горячка есть пародия на английский теймс и что самый патриотизм его — англазированный патриотизм. Как хотите, а мы отличаем патриотизм и, главное, русизм "Московских ведомостей" от высокого и искреннего патриотизма Москвы. Мы никак не можем их сливать вместе. Тот патриотизм, который в самостоятельность русского развития не верит, может быть искренний, но во всяком случае смешной патриотизм. Между прочим, у вас вот такая логика:

Поляки не должны славиться своей цивилизацией, а, следовательно, они и не славятся своей цивилизацией.

Разве это логика?

Я-то, положим, не нахожу ничего, чем поляки могут славиться — но в том-то и трагедия, что поляки верят в эту ядовитую свою цивилизацию слепо. Как в величайшую славу свою верят. Вот это как вы порешите?

Наша статья подписана "Русский". Вы изволите говорить:

"Не может ли другой подумать, что в подписи статьи словом: "Русский" таится коварный умысел". И прибавляете: "Разумеется, поляки поторопятся перевести и скажут: "Вот как сами русские" и т. д.

Отвечаем: очень может быть, что поляки поторопятся перевести, тем более, что они все-таки поляки, а вы русский, да ничего не поняли в нашей статье.

А что касается до подписи, то писал статью действительно русский, а именно: Н. Н. Страхов, наш сотрудник. Это объявляем с позволения г-на Страхова, а вместе с тем прибавляем уже собственно от себя, что русский Страхов стоит по крайней мере русского Петерсона. Это уже наше личное мнение.

Само собою, что редакция "Времени" совершенно и вполне согласна с статьею своего сотрудника. Это мы во всеуслышание объявляем.

Наконец, чтоб заключить:

Г-н Петерсон говорит: "Имя автора, если б оно было известно, произносилось бы с презрением каждым истинно русским".

Отвечаем:

Вашему имени, г-н Петерсон, мы не придаем никакого значения, да и статья ваша, собственно в литературном смысле, чрезвычайно пустая статья. Мы бы на нее ни за что не стали вам отвечать, как уже и заявили выше. В том-то и дело, что в другом, то есть не в литературном смысле, ваша статья — нехорошая статья, именно тем, что поневоле требует ответа. Она даже и не статья. Она просто — дурное дело, г-н Петерсон. Очень дурное дело. Вот почему мы и посоветуем вам обратить внимание скорее на свое имя, г-н Петерсон, и побережь его. Право, не худо будет, г-н Петерсон.

Редакция "Времени".

Цензура не пропустила этой статьи, потому что было уже известно, что дело доведено до государя и что журнал положено закрыть. Мы были признаны виноватыми, и нам не позволялось оправдываться. Журнал был закрыт без всяких условий, навсегда. Понятно, что чем грубее была ошибка, тем неудобнее было, после строгой меры, раскрывать, что мера была принята по недоразумению.

С своей стороны, я сделал все, что можно и что мне советовали. Я тотчас написал М. Н. Каткову и И. С. Аксакову, составил объяснительную записку для министра внутренних дел и предполагал подать просьбу государю. Ничего не удавалось, ничего не действовало. И М. Н. Катков, и И. С. Аксаков отозвались сейчас же и принялись действовать с великим усердием. Нужно было печатно объяснить недоразумение. Но ни тому, ни другому цензура не пропускала ни строчки по этому делу; приходилось обращаться к министру и настаивать у него. Я написал большую статью для "Дня" — она не была пропущена. О просьбе государю я советовался с покойным А. В. Никитенко и предполагал подать ее через него. После нескольких совещаний он дал мне решительный совет отказаться от этого намерения.

Положение наше было не только в высшей степени досадно, но отчасти и тяжело. Несколько времени я предполагал, что меня вышлют куда-нибудь из Петербурга. Все работавшие в журнале потеряли место для своих работ, а редактор имел перед собою прекращение дела, на которое им возлагались большие расчеты. Но, несмотря на все это, нельзя сказать, чтобы мы горевали. Никто не унывал, и все готовы были смотреть на это происшествие только как на один из крупных случаев обыкновенных литературных превратностей. До сих пор дело у нас шло очень весело и успешно; поэтому мы рассчитывали, что и вперед мы успеем еще десять раз поднять его и добиться еще лучших результатов. Гром, который поднялся в литературных кружках и в обществе, представлял

и свою выгодную сторону — распространение нашей известности в публике. Этим утешениям и надеждам, однако же, далеко не суждено было сбыться в таких размерах, как мы предполагали.

Решительный поворот делу дала наконец заметка, помещенная в "Русском вестнике". Редакция "Московских ведомостей", чувствуя себя в некоторой мере виноватою, усиленно хлопотала о том, чтобы помочь беде, и после всяческих настояний у министра П. А. Валуева добилась наконец того, что ей, но только ей одной, дана была возможность объяснить возникшую путаницу. Это объяснение явилось в майской книжке "Русского вестника"; но так как хлопоты долго тянулись, а редакция не хотела выпускать книжки без своего объяснения, то эта майская книжка была подписана цензором лишь 28-го июня, следовательно, явилась в свет в начале июля. Заметка называлась "По поводу статьи "Роковой вопрос" и отличалась обыкновенным мастерством. В ней я был осыпан упреками, очень резкими по форме, но мало обидными по содержанию; решительно отвергались и опровергались все положения моей статьи, но вместе столь же решительно утверждалась и доказывалась ее невинность. Таким образом, было сделано полное удовлетворение всем, негодовавшим на статью и доведшим дело до запрещения журнала, и в то же время редакция "Времени" и я были ограждены от всяких дальнейших дурных последствий. Только настояниям "Русского вестника" и его заметке следует, кажется, приписывать и то, что никого из нас больше не трогали, и то, что через восемь месяцев Михаилу Михайловичу Достоевскому дозволено было начать новый журнал.

Однако же я с этих пор попал на замечание и состоял на нем лет пятнадцать, так что два или три раза, когда издатели журналов предлагали мне редакторство, цензура отказывалась утвердить меня в звании редактора.

Этот случай, как и многие другие, показывает, до какой степени трудно цензурное дело. Люди с чистыми намерениями способны бывают, по этому самому, впадать в наивности и неловкости, за что и подвергаются строгостям и запрещениям; люди же не совсем чистые в правительственном смысле обыкновенно очень ловки и неспособны к наивностям, почему преспокойно процветают, вдобавок уверяя и других и самих себя, что они истинные мученики. В настоящем случае мы, то есть редакция "Времени", очень горевали особенно потому, что потеряна была возможность выразить наше патриотическое настроение. Если бы "Время" не было запрещено, мы бы подняли горячую полемику с московскими изданиями, стараясь перещеголять их в патриотизме, споря о том, кто лучше и глубже понимает русские интересы. Когда же "Время" замолчало, то потом из Петербурга не было слышно уже никакого отзыва по польскому делу.

Кстати, приведу здесь небольшие выдержки из письма ко мне И. С. Аксакова, важные для характеристики "Времени" и тогдашней литературы вообще.

От 6-го июля 1863 г. он писал:

"Вы напрасно ссылаетесь на направление "Времени". Хотя оно постоянно кричало о том, что у него есть направление, но никто на это направление не обращал внимания. Оно имело значение как хороший беллетристический журнал, более чистый и честный, чем другие, но претензии его были всем смешны. Там могли быть помещаемы и помещались и хорошие статьи....., но все это не давало "Времени" никакого цвета, никакой силы. Ему недоставало высших нравственных основ, честности высшего порядка. Оно имело бесстыдство напечатать в программе, что первое в русской литературе провозгласило и открыло существование русской народности! Нет такого врага славянофилов, который бы не возмутился этим. Потом это наивное объявление, что славянофильство момент

отживший, а пути к жизни, новое слово теперь у "Времени"! Славянофилы могут все умереть до одного, но направление, данное ими, не умрет, — и я разумею направление во всей его строгости и неуступчивости, не прилаженное ко вкусу петербургской канканирующей публики. Вот это волокитство за публикой, это желание служить и нашим и вашим, это трактование славянофилов свысока во "Времени" и с презрением в первой программе "Времени", это уронило журнал в общем мнении публики, а славянофилы, как вы знаете, нигде, ни единым словом даже не задели "Времени", потому что убеждения их не вопрос личного самолюбия. Например, "Время" о повестях Кохановской объявляет, как о явлениях, пропущенных нашей критикой, забывая, что "Русская беседа" в статьях моего брата и Гилярова первая определила ее значение в литературе!!? В Петербурге, впрочем, не может издаваться журнал с народным направлением, ибо первое условие для освобождения в себе плененного чувства народности — возненавидеть Петербург всем сердцем и всеми помыслами своими. Да и вообще, нельзя креститься в христианскую веру (а славянофильство есть не что иное, как высшая христианская проповедь), не отдувшись, не отплевавшись, не отречьшись от сатаны".

Чем горячее это письмо и чем живее негодует оно на "Время", тем больше цены имеют сказанные здесь похвалы нашему журналу, что это был хороший беллетристический журнал, более чистый и честный, чем другие. Упреки же — некоторые вполне основательны, а другие преувеличены, впрочем не без вины самого "Времени", именно по неясности того духа, в котором велся журнал. Об отношениях к славянофильству я уже подробно говорил. Очень справедлив упрек в волокитстве за публикою, но это волокитство имело вовсе не злостный, а скорее самый чистый характер, и под ним вовсе не скрывалось желания служить и нашим и вашим. Что касается до высших нравственных основ, до христианской проповеди, то эти основы, действительно, высказывались в журнале всего менее и выражались разве только одним отрицательным образом, например в том, что в журнале не было ничего ни материалистического, ни антирелигиозного. Кругом царило такое ярое вольнодумство, что не одно "Время" приберегало до более удобного случая публичное выражение своих заветнейших убеждений. Мало того, — из наших частных разговоров мне не припоминается почти ни одного случая, когда бы Федор Михайлович прямо высказывал то религиозное настроение, которое, по-видимому, не угасало в нем ни в один период его жизни. Помню, впрочем, как, говоря со мной о революции, он с особенной силой сослался на слова Евангелия: "поднявшие меч мечом и погибнут". Но неуважение к религии или кощунственные шуточки над нею нимало не были в ходу во всем нашем кружке, несмотря на то, что были обыкновеннейшим явлением у тогдашних просвещенных людей, и строго относиться к ним было невозможно. Наконец, что касается приверженности к Петербургу, о которой можно было заключить по петербургскому тону и всем литературным приемам "Времени", то и ее в сущности не было. Братья Достоевские и Ап. Григорьев были москвичи по рождению, я приехал в Петербург шестнадцати лет, да и из других сотрудников я не помню чистых петербуржцев, людей, часто действительно бывающих влюбленными в свою родину и обыкновенно болеющих проказою того особенного просвещения, которое в ней завелось и укоренилось. Провинциалы, постоянно пополняющие собою петербургское население, бывают свободнее от этой заразы и составляют иногда некоторое ей противоядие.

"Роковой вопрос", по недоразумению, нравился не только тем русским, которые стыдятся патриотизма и не понимают его, но и полякам и всяким врагам России. В "Revue des deux Mondes", 1 Аоыт 1863, появилась статья Мазада, в которой целиком и очень точно был переведен "Роковой вопрос". Французский журнал находил в нем подтверждение своей мысли, той точки зрения, с которой он сам смотрел на польское восстание; а он утверждал, что польское дело есть дело цивилизации и порядка, ибо русские распространяют-де всюду варварство и коммунизм. Статью мою Мазад приписал

Достоевскому и, по этому случаю, говорил об его ссылке и его сочинениях. Там было сказано, между прочим: *il a écrit des livres navrants sur sa patrie*; Федору Михайловичу доставило маленькое удовольствие то, что он известен за границую. Смеясь, он замечал, однако, что слово *navrants* напоминает ему русское слово наврал. (15)

XI. ВТОРАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Летом 1863 года, вероятно к концу лета, Федор Михайлович уехал за границу. Предыдущая поездка была так полезна для его здоровья, что он, с тех пор, постоянно стремился за границу, когда чувствовал нужду поправиться и освежиться. Какая тут была причина, — перемена ли воздуха или перемена его изнурительного образа жизни, но только эти поездки были для него спасением; польза их доказывалась мерилом, в котором не могло быть никакого сомнения, быстрым уменьшением числа припадков.

Судя по всему, что могу припомнить, и по всем обстоятельствам дела, Федор Михайлович взял с собою достаточно денег для поездки, но за границую попробовал поиграть в рулетку и проигрался. Он познакомился с рулеткой еще в первую поездку, прежде чем доехал до Парижа, и тогда выиграл тысяч одиннадцать франков, что, разумеется, было очень кстати для путешественника. Но эта первая удача уже больше не повторялась, а разве только вводила его в соблазн. В рулетке он не видел для себя ничего дурного, так как романисту было не лишнее испытать эту забаву и познакомиться с нравами тех мест и людей, где она происходит. Действительно, благодаря этому знакомству, мы имеем повесть "Игрок", где дело изображено с совершенною живостью.

Как бы то ни было, в конце сентября я получил от него следующее письмо, которое привожу вполне, так как оно рисует почти все тогдашние обстоятельства и характеризует его собственные приемы и обычаи. (16)

"Рим 18(30) сентября.

Любезнейший и дорогой Николай Николаевич, брат в последнем письме своем, которое я получил дней 9 тому назад в Турине, писал мне, что Вы будто бы хотите мне написать письмо. Но вот уже я два дня в Риме, а письма от Вас нет. Буду ожидать с нетерпением. (17) Теперь же я сам пишу к Вам, но не для излишнего каких-нибудь вояжёрских ощущений, не для сообщения кой-каких идей, во весь этот промежуток пришедших в голову. Все это будет, когда я сам приеду и когда мы нет-нет да и поговорим, как между нами часто бывало. Нет; теперь я обращаюсь к Вам с огромною просьбою и впредь предупреждаю, что имею нужду во всем расположении Вашем ко мне и во всех тех дружеских чувствах (Вы мне позвольте так выразиться), которые, как мне показалось, Вы ко мне не раз выказывали.

Дело в том, что, исполнив просьбу мою, Вы, буквально, спасете меня от многого, до невероятности неприятного.

Все дело вот в чем:

Из Рима я поеду в Неаполь. Из Неаполя (дней через 12 от сего числа) я возвращусь в Турин, то есть буду в нем дней через пятнадцать. В Турине у меня иссякнут все мои деньги, и я приеду в него буквально без гроша.

Я не думаю, чтоб в настоящую минуту было разрешено "Время". Да и во всяком случае я имею основание думать, что брат ничем не в состоянии мне теперь помочь.

Без денег же нельзя, и, приехав в Турин, надо бы, чтоб я нашел в нем непременно деньги на почте. Иначе, повторяю, я пропал. Кроме того, что воротиться будет не на что, у меня есть и другие обстоятельства, то есть другие здесь траты, без которых мне совершенно невозможно обойтись.

И потому, прошу Вас Христом и Богом, сделайте для меня то, что Вы уже раз для меня делали, перед самым моим отъездом.

Вы тогда ходили к Боборыкину ("Библиотека для чтения"). Боборыкин, по запрещении "Времени", сам письменно звал меня в сотрудники. Следственно, обращаться к нему можно. Но в июле Вы обращались к нему с просьбою о 1500-х рублях, и он их Вам не дал, потому что июль для издателей время тяжелое. Впрочем, помнится, он Вам что-то говорил об осени. Теперь же конец сентября. Время подписное, и деньги должны быть. И не 1500 рублей я прошу, а всего только 300 (триста руб.).

NB. Пусть знает Боборыкин, так же как это знают "Современник" и "Отечественные записки", что я еще (кроме "Бедных людей") во всю жизнь мою ни разу не продавал сочинений, не брав вперед деньги. Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить. Порядок этот я сам проклинаяю. Но так завелось и, кажется, никогда не выведется. Но продолжаю: Теперь готового у меня нет ничего. Но составилась довольно счастливый (как сам сужу) план одного рассказа. Большею частию он записан на клочках. Я было даже начал писать, — но невозможно здесь. Жарко и, во-2-х) приехал в такое место, как Рим, на неделю; разве в эту неделю, при Риме, можно писать? Да и устаю я очень от ходьбы.

Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Все это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится вся современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многообразного, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокоивает себя тем, что ему нечего делать в России, и потому — жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. Но всего не расскажешь. Это лицо живое (весь как будто стоит передо мною) — и его надо прочесть, когда он напишется. Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость — пошли на рулетку. Он — игрок, и не простой игрок — так же, как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. (Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности.) (18) Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным городам на рулетке.

Если "Мертвый дом" обратил на себя внимание публики как изображение каторжных, которых никто не изображал наглядно до "Мертвого дома", то этот рассказ обратит непременно на себя внимание как НАГЛЯДНОЕ и подробнейшее изображение рулеточной игры. Кроме того, что подобные статьи читаются у нас с чрезвычайным любопытством, — игра на водах, собственно относительно заграничных русских, имеет некоторое (может, и немаловажное) значение.

Наконец, я имею надежду думать, что изображу все эти чрезвычайно любопытные предметы с чувством, с толком и без больших расстановок.

Объем рассказа будет minimum 1 1/2 печатных листа, но, кажется, наверно два, и очень может быть, что больше.

Срок доставки в журнал 10 ноября, это крайний срок, но может быть и раньше. Во всяком случае, никак не позже десятого, так что журнал может напечатать его в ноябрьской книжке. В этом даю честное мое слово, а я имею уверенность, что в честном моем слове еще никто не имеет основания сомневаться.

Плата 200 руб. с листа. (В крайнем случае 150.) Но никак не хотелось бы сбавлять цену. И потому лучше настаивать на двустах. Вещь может быть весьма недурная. Ведь был же любопытен "Мертвый дом". А это — описание своего рода ада, своего рода каторжной "бани". Хочу и постараюсь сделать картину.

Теперь вот что.

Простите, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, что прямо и бесцеремонно Вас беспокою. Я понимаю, что это — беспокойство. Но что ж мне делать? Если я, приехав дней через 15 или 17 (maximum) в Турин, не найду в нем денег, то я буквально пропал. Вы не знаете всех моих обстоятельств, а мне слишком долго их теперь описывать. К тому же Вы были уж раз слишком добры ко мне; а потому спасите меня еще раз.

Вот что надо.

По получении этого письма, прошу Вас (как последнюю надежду), сходите немедленно к Боборыкину. Скажите, что я Вас уполномочил. Покажите часть моего письма, если надо; сделайте предложение. (Разумеется, так, чтоб мне было не очень унижительно, хотя за границей очень можно зануждаться. Да к тому же Вы не можете повести дело без достоинства.) Получите деньги и тотчас же вышлите их мне, то есть выдайте брату. Он уж знает, как послать.

Если нельзя кончить дело с Боборыкиным, то хоть в газеты, хоть в "Якорь" (поцелуйте за меня Ап. Григорьева), (19) хоть во всякий другой журнал (разумеется, не в "Русский вестник"), и по возможности избегая "Отечественных записок". Ради Бога, избежите. Даже лучше не надо и денег. Даже можно в "Современник", хотя, может быть, там Салтыков и Елисейев не пустят. (А почему знать, я, может быть, грешу.) Статья моя "Современника" наверно не изуродует. Во всяком случае, можно обратиться прямо к Некрасову. Это sine qua non, и с ним решить дело. Это бы даже очень недурно. Даже лучше "Библиотеки". Некрасов, может быть, не очень на меня сердит. Да и человек он, по преимуществу, деловой. Разумеется, голубчик Николай Николаевич, все дело надо бы было окончить дня в два, много в три. Я пропал, пропал буквально, если не найду в Турине денег. В Неаполь мне не пишите, а пишите теперь прямо в Турин, и умоляю Вас написать во всяком случае. Получив деньги, снесите их брату. Мне собственно надо 200 р., но никак не меньше, сто же рублей остальных брат отошлет Марье Дмитриевне. Итак, достать надо триста. Теперь все написал. Вверяю Вам себя и почти судьбу мою. Так это для меня важно. Может быть, я Вам потом расскажу. Но теперь умоляю Вас, затем обнимаю от всего сердца и остаюсь Ваш

Достоевский".

(Приписка на 1-й странице.) "Странно: пишу из Рима и ни слова о Риме! Но что бы я мог написать Вам? Боже мой! Да разве это можно описывать в письмах? Приехал третьего дня ночью. Вчера утром осматривал Св. Петра. Впечатление сильное, Николай Николич, с холодом по спине. Сегодня осматривал Forum и все его развалины. Затем Колизей! Ну что ж я Вам скажу..."

(Приписка на 2-й странице.) "Поклонитесь от меня всем: Григорьеву и всем. Брату Вашему особенно. Да еще прошу Вас очень, непременно передайте мой привет и поклон от всей души Юлии Петровне. Сделайте это при первом же свидании.

Славянофилы, разумеется, сказали новое слово, даже такое, которое, может быть, и избранными-то не совсем еще разжевано. Но какая-то удивительная аристократическая сытость при решении общественных вопросов".

(Приписка на 3-й странице.) "Не поможет ли Вам в чем-нибудь Тиблен, разумеется в самом крайнем случае. Ему и Евгении Карловне мой поклон. Передайте ей при первом свидании".

* * *

В этом письме отражаются и обыкновенные затруднения, среди которых жил Федор Михайлович, и его манера кабалить себя для добывания средств, и приемы его просьб, излагаемых с волнением и настойчивостью, с повторениями, подробными пояснениями и вариациями. Из письма видно также, что наша редакция была в дурном положении. Дело в том, что Михаил Михайлович, как и многое множество наших дворян, имел очень мало свойств делового человека. Жизнь он вел скромную и был гораздо осмотрительнее Федора Михайловича; но он имел большое семейство и фабрика его давно уже шла в убыток, давая ему только опору для поддержания кредита и постепенного наращивания долгов. Когда журнал пошел с чрезвычайным успехом, он постарался развязаться с невыгодным делом, уплатил долги и продал фабрику. В начале 1863 года я помню, как он похвалился этим, показывая кипу разорванных векселей. Расчет его был очень хороший, но когда неожиданно стряслось запрещение журнала, он оказался вдруг и без денег, и без всякого торгового дела. Удар для него был страшный; между тем мы, сотрудники, не зная его дел и занятые нашими литературными мечтаниями, не догадывались об его беде и даже сердились на него, рассчитывая, что деньги четырех тысяч подписчиков не могли же все уйти на первые четыре книжки журнала и что, следовательно, он напрасно охает и жалуется.

Получив приведенное письмо, я сейчас же отправился к П. Д. Боборыкину, и он объявил мне, что дело самое подходящее и что он может дать денег. Он был в это время редактором "Библиотеки для чтения" и с великим усердием старался поднять этот журнал. К 1863 году знаменитая "Библиотека" так упала, что у нее оказалось только несколько сотен подписчиков. Если не ошибаюсь, с третьей книжки редакторство принял на себя Петр Дмитриевич. Поднимать падающее и начинать дело совершенно не вовремя было в высшей степени не расчетливо; и действительно, много денег и трудов были погублены в этом деле. Но работа шла тогда горячо, и редактор постарался не упустить такого сотрудника, как Федор Михайлович.

На другой день зашел ко мне Михайло Михайлович и выведал у меня и данное поручение, и мои переговоры. Он просил меня приостановиться, говоря, что, может быть, успеет сам найти деньги. Разумеется, ему жаль было и брата и повести, которая без этого пошла бы в его собственный, ожидаемый им журнал. Я имел жестокость отвечать, что не могу ждать, и вечером же сказал П. Д. Боборыкину, чтобы он не медлил. На третий день дело было кончено; Михайло Михайлович отказался от соперничества и послал брату чужие деньги.

Этой запроданной повести, однако, не суждено было явиться в "Библиотеке для чтения". Редактор долго ее ждал, наконец, когда началась "Эпоха", стал требовать денег назад и не скоро их получил. Такой ход дела был очень неприятен, и, по неведению, я винил тут всё бедного Михайла Михайловича. Что касается до Федора Михайловича, то исполнить обещание ему помешали самые уважительные причины. Его жена, Марья Дмитриевна, умирала, и он должен был находиться при ней, то есть в Москве, куда доктора посоветовали перевезти ее. Вопрос был уже не об излечении, а только об облегчении болезни; чахотка достигла последней степени.

XII. РАЗРЕШЕНИЕ НОВОГО ЖУРНАЛА

Не могу сказать, когда именно Федор Михайлович вернулся из-за границы и переехал в Москву к Марье Дмитриевне. Но сохранилось его письмо к Михаилу Михайловичу из первых дней этого времени. Вот оно:

"19 ноября/63 года. Москва.

Я очень хорошо знаю, любезный брат, что у тебя хлопот и забот теперь по горло, да что ж мне-то делать: столько навалилось забот и на меня, что и конца не вижу. Ты пишешь, что после 20-го приедешь в Москву. Когда же? После 25-го, разумеется. Если раньше, то мы можем разъехаться, потому, что все-таки я надеюсь до 25-го быть в Петербурге. А нам о многом и как можно скорее надо друг с другом переговорить. Главное, чтоб не обманывали обещаниями и действительно позволили бы поскорее "Правду". Я признаюсь тебе, что не очень в отчаянии, что совершенно нельзя воскресить "Время". "Правда" может произвести такой же эффект, если не больше, разумеется, при благоприятных обстоятельствах, — это главное. Что же касается до названия "Правда", то, по-моему, оно превосходно, удивительно и можно чести приписать выдумку названия. Это прямо в точку. И мысль наиболее подходящую заключает, и к обстоятельствам идет, а главное — в нем есть некоторая наивность, вера, которая именно как раз к духу и к направлению нашему, потому что наш журнал ("Время") был все время до крайности наивен и, черт знает, может быть, и взял наивностью и верой. Одним словом, название превосходное. Обертку можно ту же, как и у "Времени", чтобы напоминало собою "Время", раздел в журнале один, как в "Revue des deux Mondes", а в Объявлении о журнале, на 1-й строчке, в начале фразы напечатать что-нибудь вроде: "Время требует правды... вызывает на свет правду..." и т. д.; так, чтоб ясно было, что это намек, что "Время" и "Правда" — одно и то же. За одно боюсь, за объявление. Друг мой, тут нужно не искусство даже, не ум, а просто вдохновение. Самое первое — избежать рутины, так свойственной в этих случаях всем разумным и талантливым людям. Напишут умно, кажется ни к чему нельзя подкопаться, а выходит вяло, плачевно, и, главное, похоже на все другие объявления. Оригинальность и приличная, то есть натуральная эксцентричность — теперь для нас первое дело. Пишешь, что уже сел писать объявление. Знаешь, какая моя идея? Написать лаконически, отрывочно, гордо, даже не усиливаясь делать ни единого намека, — одним словом,

выказать полнейшую самоуверенность. Само объявление (о духе журнала и проч.) должно состоять из 4-х — 5-ти строк. А там расчет с подписчиками, тоже крайне лаконический. Надобно поразить благородной самоуверенностию. (20) *—у *—у не понравилось название "Правда". Но ведь это страшный рутинер, и даже добрый знак, что не понравилось. Эти господа сначала завопят: не так, нехорошо, а потом вдруг, смотришь, все разом и начинают пощелкивать языком: хорошо, дескать, прекрасно. Это жрецы минутного. Что Страхову и Разину понравилось — это я понимаю. Люди с толком и главное — с некоторым чутьем. Но остальные должны забраковать.....

Мы здесь нанимаем квартиру, и как только перееду, как только устроимся, — тотчас же я и в Петербург. Хлопоты не дают мне ровно ни капли времени писать. Припадков было у меня здесь уже два, из которых один (последний) сильный.

Другая фирма журнала ("Правда") не будет иметь никакого влияния на передовую статью. Разбор Чернышевского романа и Писемского произвел бы большой эффект и, главное, подходил бы к делу. Две противоположные идеи, и обеим по носу. Значит, правда. Я думаю, что все эти три статьи (если только хоть 2 недели будет работы спокойной) я напишу. Здесь я никого не видал, кроме Писемского, которого случайно вчера встретил на улице и который обратился ко мне с большим радушием.

Вчера же вечером шла его "Горькая судьбина" в 1-й раз. Я не был. Об участи драмы — не знаю. Он говорил, что Английский клуб и вся помещичья партия собирает кабалу. Прихвастнул, должно быть. Прощай, обнимаю тебя. Во всяком случае, скоро увидимся. Кланяйся всем, кому следует. О разделе наследства здесь ничего не знают, кроме того, что в конце ноября".

* * *

О хлопотах по журналу, которые упоминаются в этом письме, память сохранила мне мало подробностей. Помню только, что цензурное ведомство оказалось необыкновенно тугим. Случай с "Роковым вопросом", очевидно, сбил цензуру с толку. Так как промах оказался там, где она вовсе не ожидала (статья была процензурована, как всё, что тогда печаталось, и не встретила ни малейшего затруднения), то цензура уже не знала, что ей останавливать и что запрещать, и удесятерила свою строгость. Название "Правда" показалось прямым намеком и не было допущено; точно так было признано опасным название "Дело" и другие подобные; после долгих переговоров редакция, скрепя сердце, остановилась на неудачном названии "Эпоха", в котором, наконец, цензура не нашла ничего неудобного. Нерусское название было очень неприятно; нас сердило, когда попадались читатели, которые с трудом его запоминали, произносили "Эпоха", смешивали с "Эхо" и т. д.

Кроме того помню, что разрешение журнала все оттягивалось и оттягивалось. Почему-то принят был срок восьми месяцев со времени запрещения. По этому счету новому журналу позволено было выходить с января 1864 года; но за разными проволочками, измучившими всех нас, объявление об издании "Эпохи" могло появиться в "С.-Петербургских ведомостях" только 31 января 1864 года. После указания объема книжек, срока выхода, программы, цены и пр., в объявлении было сказано:

"В заключение М. Достоевский считает долгом заявить следующее.

Во-первых, он приносит искреннюю благодарность своим прежним подписчикам. Несмотря на то, что с его стороны до сих пор не было никаких объявлений, к нему поступило не более сотни писем от подписчиков "Времени" с требованием расчета.

Во-вторых, мы уже слишком долго толковали о почве, о соединении общества с чисто народными, естественными его интересами, (21) чтобы объяснять теперь еще раз направление нашего нового журнала. Великие события последнего времени, заявившие собой первые признаки (после эпохи двенадцатого года) соединения общества с земством, так что та и другая сторона начали почти понимать друг друга — составляют наглядный пример того, чего мы всегда желали и к чему стремилось наше направление. Придет же, наконец, время, когда направление всех истинно русских будет слишком ясно без всяких разъяснений, без всяких печальных недоразумений".

Объявление мастерское, именно такое, о каком питал замыслы Федор Михайлович. Ничего яснее нельзя было желать, особенно когда вверху стояло крупными буквами: "О подписке на журнал "Эпоха" и о расчете с подписчиками "Времени". Но тут же видна и ошибка, сделанная прежде. Если только сто подписчиков требовали возвращения денег, то тысячи других, не писавших писем в редакцию, наверное ждали, однако, от нее какого-нибудь удовлетворения или хоть отзыва и, конечно, сердились, не находя в газетах никакого обращения к себе. За этим последовал целый ряд других ошибок и несчастий и дело стало идти все хуже и хуже.

Постараюсь перечислить этот ряд несчастий и неудач, отчасти потому, что они имели большое значение для Федора Михайловича, отчасти для того, чтобы указать черты тогдашнего хода литературы и даже вообще черты падения журналов, — дела, как известно, очень обыкновенного у нас.

Братья Достоевские принадлежали к числу людей непрактичных или мало практичных. Может быть, есть лучшее слово для обозначения свойств, о которых хочу говорить, но, кажется, годится и это. Непрактичность очень часто встречается у русских людей, не только у одних дворян, у которых она стала как будто наследственной. Это свойство часто очень милое, достойное зависти и могущее иметь в основе высокие душевные настроения. Оно состоит в том, что люди живут минутою, что для них может исчезать все их прошедшее и все их будущее. Такие люди никак не могут завести правильного порядка в своей жизни. Они принимают свои решения или делают обещания с величайшей искренностью, но редко могут их выполнить. В случае невыполнения обязательств, принятых в отношении к себе или к другим, они или вдруг находят для этого тысячи самых ясных оснований или же горько мучатся и упрекают себя; но прошла тяжелая минута, и они опять готовы — искренно решаться и обещать и столь же искренно не сдерживать своего намерения. Они часто составляют прекрасные планы и очень живо воодушевляются этими планами, но потом забывают делать, что нужно для их выполнения. Они непритворно каются в своих ошибках и промахах и потом впадают в них при первом же искушении. Они беспрестанно падают и воскресают духом; спокойная и светлая минута сейчас же изглаживает из их памяти все прошлое, а будущее для них почти не существует.

Такие люди, если они умны, добры, талантлив, бывают чрезвычайно привлекательны, и мне думается, что способность жить минутою даже не может быть свойственна совершенно дурному человеку. Но такие люди не могут быть практичными, не могут соблюдать условий, требующихся каждым сложным и долговременным делом. С ними можно иногда жить с большим наслаждением, но приходится смотреть и ухаживать за

ними как за детьми; их можно любить и, может быть, крепче, чем всяких других, но вести с ними дело, то есть дела — невозможно.

Распространяюсь об этой непрактичности не только потому, что она в некоторой мере отзывалась у братьев Достоевских, но что она вообще часто встречается на литературном поприще и что от нее погубило на моих глазах не одно журнальное дело и не одна семья дошла до разорения, не имевшего часто никакой другой причины. Что касается до Достоевских, то Михаила Михайловича нельзя было считать человеком вполне непрактичным; он был довольно осмотрителен и предусмотрителен. Федор же Михайлович, несмотря на свой быстрый ум, несмотря на возвышенные цели, которых всегда держался в своей деятельности и в своем поведении, или, скорее — именно по причине этих возвышенных целей, — чрезвычайно страдал непрактичностью; когда он вел дело, он вел его очень хорошо; но он делал это порывами, очень короткими, легко утешался и останавливался, и хаос возрастал вокруг него ежеминутно. "Эпоха" была начата ни с чем; через год, когда она кончилась (вторую книжкою 1865), на нее была убита не только вся подписка, но и та доля наследства, которая приходилась братьям от богатой московской родственницы (кажется, по 10000 руб. на каждого) и которую они выпросили вперед, и, сверх того, 15000 руб. долга, с которым остался Федор Михайлович после прекращения журнала.

XIII. "ЭПОХА" И ЕЕ ПАДЕНИЕ

Началась "Эпоха" в очень неблагоприятных обстоятельствах. Федор Михайлович был в Москве, у постели умирающей жены, и сам больной, так что не успел ничего написать. Мою статью "Перелом" запретила напуганная цензура, вообще очень подозрительно следившая за "Эпохою", а меня считавшая чрезвычайно опасным, так что не пропускала тех самых моих статей, в которых я рвался заявить свой патриотизм и снять с себя обидное обвинение. Все сотрудники были в каком-то разброде. Но главное — переменилось настроение публики и литературы.

В 1863 году совершился глубокий перелом общественного настроения, самый глубокий и важный из всех подобных поворотов, происходивших в прошлое царствование. В этом году простодушная публика в первый раз заметила, куда ее ведет известная партия литературы, и отшатнулась от этой партии, а потому и вообще от литературы. Герцен совершенно упал; "Московские ведомости", начавшие выходить с 1-го января под нынешнюю редакцию, скоро заявили то патриотическое и руководительное направление, которое так блистательно развивают до сих пор; словом, после величайшего прогрессивного опьянения наступило резкое отрезвление и какая-то растерянность. По всей России в первый раз в то царствование заговорил тот патриотизм, которым так бесконечно сильна наша земля. И так как литература была не очень патриотична, то она потеряла вкус для читателей. В Петербурге значительно затихла та болтовня, те противуправительственные пересуды и затеи, которые составляют главную забаву многого множества, и стало скучно. Начался даже отлив населения из Петербурга, продолжавшийся все шестидесятые годы. Общий упадок этого бесцельного движения отразился везде, и точно так же на "Эпохе". Редакционные собрания ее не походили на собрания "Времени"; они были малолюдны и неоживленны.

При таких обстоятельствах требовалась особенная энергия со стороны редакции. Между тем Михайло Михайлович действовал вяло, может быть измученный предшествовавшими волнениями, а может быть уже носивший в себе ту болезнь, которая скоро должна была свести его в могилу. Тут очень повредило делу и воспоминание о блестящем успехе "Времени". Во все продолжение "Эпохи" оба Достоевские никак не хотели верить, чтобы

их могла постигнуть неудача, и были поэтому часто очень небрежны. Как бы то ни было, первая книжка "Эпохи", которая могла бы явиться уже в феврале, особенно если бы была заранее подготовлена, не явилась и в первой половине марта; вместо того решено было издать двойную книжку за январь и за февраль, но и эта двойная книжка явилась лишь к началу апреля. Объявление об ее выходе напечатано в "С.-Петербургских ведомостях" 24 марта 1864 года. Разумеется, тогда подписка на журналы давно состоялась, и публика, выбитая из старой колеи, не обратила никакого внимания на новое литературное явление.

Чтобы дать понятие об этой книжке и о тогдашнем ходе дел, сделаю выдержку из письма Федора Михайловича из Москвы от 26 марта.

"Любезный брат, у Черенина я достал 3-го дня "Эпоху", которую он неизвестно как получил так скоро, и 1 1/2 дни читал я ее и пересматривал. Вот мое впечатление: издание могло бы быть понаряднее, опечатки бесчисленные, до крайнего неряшества, ни одной руководящей, вводной, хотя бы намекающей на направление статьи, кроме статьи Косицы (хотя и хорошей, даже очень, но для 1-го номера нового журнала — недостаточной). Знаю, что все это от запрещения "Ряда статей". Но мне-то тем нестерпимее, потому что эти 2 номера решительно имеют теперь вид сборника. Есть и ёрничество, совершенно, впрочем, извинительное, когда издаешь 2 номера на скорую руку, а именно: роман Шпильгагена, "Процесс" и "Записки помещика"; все три статьи занимают целую половину 2-х книг. Жаль, что не читал Ержинского. Если хорошо — так все спасено, а если нехорошо, то очень плохо. Теперь о хорошей стороне: все статьи, которые я прочел, занимательны (Шпильгагена я не читал; может, и хорошо. Я говорю только об ужасном объеме). Обертка пестра, и названия статей завлекательны. Некоторые статьи очень порядочны, то есть "Призраки"... Статьи Страхова, Ап. Григорьева, Аверкиева, "Что такое польские восстания", компиляция из Смита, "Ерши" и "Бедные жильцы" Горского мне очень понравилась. В защиту на все нападения на Горского можно сказать, что это совсем не литература и с этой точки глупо рассматривать, а просто факты и полезные. Не читал еще "Савонароллы". Очень бы желалось знать, какого рода эта статья. Но все это меркнет оттого, что запрещен "Ряд статей". Ради Бога, проси Страхова выправить свою статью в цензурном отношении для следующего № или написать новый "Ряд статей". Как можно скорей статью руководящую!

Пожалуюсь и за мою статью; опечатки ужасные, и уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и противуреча самой себе. (22) Но что ж делать! С.....и цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа — то запрещено. Да что они, цензора-то, в заговоре против правительства, что ли?"

Из этого отрывка ясно видны и жалкий вид нашего двойного номера, и одна из причин этого жалкого вида — строгость и растерянность цензуры. Но другая причина была небрежность редакции: и дурная обертка, и избитый шрифт, и плохая бумага, и обилие опечаток — все было до крайности неприятно и ничем не извинялось. Подобных неисправностей никогда не допускали журналы, умевшие пользоваться успехом и поддерживать его. Например, "Современник", какие бы слабые и пустые книжки ни случалось ему выпускать, всегда отличался блестящею наружностью и по части корректуры был замечательно исправен.

Так потянулась "Эпоха" и дальше: вяло, неопратно, запаздывая книжками. Она велась, собственно, так же, как и "Время", но прежде все само собою шло хорошо, а теперь точно так же все само собою шло дурно. Между тем последовал ряд смертей: Марьи

Дмитриевны, Михаила Михайловича и Ап. Григорьева. Марья Дмитриевна умерла 16-го апреля, и Федор Михайлович сейчас же переехал в Петербург, 10-го июня неожиданно умер Михайло Михайлович, хворавший очень недолго и бывший почти все время болезни на ногах.

Это было жестоким ударом. Журнал, и без того запоздавший, остановился на два месяца, — пока был найден и утвержден новый редактор и приведены дела в порядок. Задержка со стороны цензуры, не имевшей никакой причины торопиться, была очень значительна по времени. Подходящие литературные имена состояли в подозрении у цензуры, и потому редактором попросили стать Александра Устиновича Порецкого, служившего в Лесном департаменте, человека неизвестного в литературе, но очень умного и образованного, отличавшегося, сверх того, редкими душевными качествами, безукоризненной добротой и чистотой сердца. Сочувствуя всею душою направлению "Эпохи", он взял на себя официальное редакторство, тогда как всем делом заправлял, разумеется, Федор Михайлович. Кстати: в публике, не слишком внимательной к именам, произошла путаница, и многие считали тогда умершим Федора Михайловича, то есть знаменитого Достоевского. Поэтому Федор Михайлович должен был употреблять даже особые старания, всячески давая знать, что он, известный писатель, жив, а умер его брат.

В руках Федора Михайловича дело тотчас пошло иначе; он повел его довольно энергически, с тою заботливостью, которою он отличался в этого рода работах. К сожалению, эта энергия должна была устремиться на цели несущественные для дела и была потрачена понапрасну. Предполагалось, что главная задача состоит в том, чтобы добавить книжки за начатый год и, войдя в сроки, собрать новую подписку, то есть, судя по-прежнему, получить тысячи четыре подписчиков или больше. Тогда все дело пошло бы опять хорошо и все затраты и хлопоты были бы вознаграждены. И вот книжки выходили за книжками; в последние месяцы 1864 года редакция выпускала по две книжки в месяц, так что январь 1865 года вышел уже 13-го февраля, а февраль — в марте. Типография и бумага были также изменены; корректура была исправная; мало того — книжки очевидно росли в объеме, и январская книга 1864 года дошла чуть не до сорока печатных листов вместо обещаемых двадцати пяти. (23)

Но чем старательнее были выполнены внешние условия издания, тем меньше имела редакция времени и сил для выполнения внутренних его условий, и публика не могла этого не заметить, особенно при таких огромных размерах всего этого литературного явления. Книжки составлялись с большим толком и вкусом; Федор Михайлович не мог поместить какой-нибудь вполне негодной вещи; но и ничего выдающегося в них не было, — сам он не мог писать и неоткуда было взять замечательных вещей для стольких номеров. Главное же, эти книжки не представляли никакой современности, ничего важного для текущей минуты; это были простые сборники, хотя и возможные для чтения, но ничем к себе не привлекающие. Чем чаще они выходили, чем толще были, тем яснее это становилось. Публика не могла чувствовать к ним расположения, так как она в значительной мере читает по обязанности, для того, чтобы иметь понятие об авторе или книге, чтобы следить за вопросами, чтобы иметь возможность говорить и судить и т. д. Следовательно, книга не будет читаться, если у читателя нет заранее никаких побуждений для ее чтения. И вот таких-то восемь или десять книг было издано редакцией "Эпохи". Частое появление их только утомляло внимание публики и литературы, которого ни одна из них и не могла и не успевала остановить на себе.

Содержанию книжек вредили не только совершенно ненужная строгость цензуры и отсутствие статей самого Федора Михайловича. В сентябре 1864 года умер Ап. Григорьев, статьи которого были так важны для журнала. Правда, публика почти не читала их, как не

читает и до сих пор; но в наших глазах и для серьезных литераторов они придавали вес и цвет журналу. Два ряда его писем, напечатанные мною после его смерти, принадлежат конечно к истинным украшениям "Эпохи".

Наконец, была еще сторона, необыкновенно вредившая ходу дела, — именно беспорядок в хозяйственной части, в рассылке журнала, в скором и точном удовлетворении подписчиков. Дело шло так плохо, что пришлось публично извиняться перед подписчиками. В объявлении о подписке на 1865 год ("Эпоха", 1864, № 8) мы читаем:

"Редакция обратит особенное внимание на рассылку своего журнала в губернии и доставку его подписчикам. Хотя жалоб на неправильную доставку книг получалось в редакции не более, чем в прежнее время, но тем не менее редакция сознается, что должны быть произведены улучшения, и она непременно займется ими".

В этих сдержанных выражениях слышится большое горе. Зло, которым страдала редакция, очевидно, досталось Федору Михайловичу по наследству, и при нем оно не только не исцелилось, а увеличилось. Хозяйство не было непосредственно в его руках, и он не хотел брать его крепче в свои руки, не чувствуя к нему охоты и считая литературную сторону важнее. Касса редакции в это время была очень скудна, часто совсем пуста; следовательно, всякое движение в хозяйстве задерживалось. Под конец, в самую важную минуту новой подписки, было много случаев, что требования подписчиков, поступавшие в редакцию, вовсе не доходили до редактора.

И при всем этом — дело удивительное! — на "Эпоху" 1865 года все-таки набралось 1300 подписчиков, то есть число, с которым мог бы с некоторым трудом начинать и вести издание новый журнал. Но старый журнал, обремененный сделанными затратами, не мог выдержать. После февральской книжки в редакции не оказалось ни копейки денег, никакой возможности платить сотрудникам, за бумагу, в типографию. Все рассыпалось и разлетелось; семейство Михаила Михайловича осталось без всяких средств, и Федор Михайлович остался с огромным долгом в пятнадцать тысяч.

Так погибла "Эпоха". Рассказывая ее историю, я не упомянул об одном обстоятельстве, имевшем тоже свое значение, — именно об отношении к журналу остальной литературы, то есть главным образом петербургских изданий, составлявших, как и до сих пор, огромное большинство периодической печати. Отношение это с начала и до конца было враждебное, и, вследствие стараний самой "Эпохи", вражда эта возрастала и разгоралась с каждым месяцем. Во "Времени", несмотря на бывшую полемику с "Современником", в конце 1862 года (в сентябрьской книжке) была еще помещена статья Щедрина, а в первой книжке 1863 года явилось стихотворение Некрасова "Смерть Прокла". Но "Эпоха" уже не имела ничего общего с "Современником". Направление ее было уже сознательно славянофильским; припоминаю, как однажды Федор Михайлович по поводу какой-то статьи в защиту "Дня" прямо сказал: "Это хорошо; нужно помогать ему сколько можем". Разрыв с нигилистическим направлением был полный, и против него исключительно направилась полемика, до которой Федор Михайлович вообще был большой охотник. Он имел дар язвительности, иногда очень веселой, и еще в последних книжках "Времени" очень остроумно задел Щедрина, хотя не по вопросу, касавшемуся направления. Между тем не только Щедрин, бывший с 1863 года присяжным сотрудником "Современника", внес в него свое остроумие и глумление, но в 1864 году этот журнал вообще стал заниматься полемикою в не слыханных дотоле и не повторявшихся потом размерах. Поднялась ужасная война, которую "Эпоха" сперва весело поддерживала, но в которой, наконец, принуждена была остаться позади своих противников, так как не могла поравняться с ними ни в задоре и резкости выражений, ни во множестве печатных листов,

усыпанных этими выражениями. За "Современником" тянули в ту же сторону другие издания. Для людей, исполненных гражданских порывов и не имеющих ни уменья, ни возможности в чем-нибудь их выразить, ничего не могло быть удобнее, как отыскать себе врага в собственной сфере и приняться всячески его казнить. Poleмика становится, таким образом, гражданским занятием, и вот благороднейшая причина, по которой она иногда так разрастается. В этой чернильной войне "Эпоха" вела себя почти безукоризненно, оставаясь на чисто литературной почве и имея в виду всегда принципы, и потому, конечно, была слабее противников, которым не было счета и которые разрешали себе не только всякое глумление и ругательство, например, называли своих оппонентов ракалиями, бутербродами, стрижами и т. п., но и позволяли себе намеки на то, что мы не честны, угодники правительства, доносчики и т. д. Помню, как бедный Михаил Михайлович был огорчен, когда его "расчет с подписчиками" был где-то продернут и доказывалось, что он обсчитал своих подписчиков.

И эти крайности — дело естественное, потому что нравственное достоинство есть высшая цена людей и их дел, так что только в этой оценке можно найти последнее основание, окончательное оправдание и своей любви, и своей злобы. Вся эта буря в стакане воды очень мало нас волновала и, при других заботах, мы не придавали ей значения. Понятно, что она имела свое действие на читателей, но мы знали, что она же содействовала и известности журнала. Вот почему, рассказавши о падении "Эпохи" и его причинах, как свидетель и участник дела, я не внес в число этих причин полемики, поднявшейся против этого издания, хотя найдутся, может быть, люди, которые увидят в этом падении победу петербургской журналистики над органом, имевшим несогласное с нею направление.

После многих опытов, к числу которых принадлежит и судьба "Времени" и "Эпохи", во мне составилось твердое убеждение, что в Петербурге может иметь полный успех самый консервативный и патриотический журнал. Публики для него довольно; конечно, в публику часто набивается по дороге всякий сор выражений и понятий, но этот сор не крепко в ней держится и легко выскакивает при первом слабом встряхивании. Одного нельзя найти для такого журнала — редактора, хозяина, то есть человека, не только душевно преданного добрым началам, но и практического, деятельного. Наши патриоты и консерваторы, кажется, чем прекраснее и достойнее любви, тем менее годны для какого-нибудь дела.

Как поучительный пример успеха можно привести "Дневник" Федора Михайловича. Это издание было вовсе не по сердцу Петербургу, но шло превосходно. Правда, хозяйственная часть на этот раз лежала не на редакторе, а на его жене. И редактор, как мне приводилось самому быть свидетелем, не раз упрекал свою жену, что она слишком мелочна п своих хлопотах и расчетах, что у нее недостает широкого взгляда на дело, размаха... Эти недостатки, однако, оказались очень полезными для этого прекрасного издания.

XIV. РАССКАЗ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА О ДЕЛАХ "ВРЕМЕНИ" И "ЭПОХИ"

В подтверждение и дополнение своего рассказа о делах "Времени" и "Эпохи" приведу свидетельство Федора Михайловича. Сохранилось драгоценное письмо, в котором он излагает по порядку все эти события. Оно писано к Александру Егоровичу Врангелю, бывшему тогда секретарем русского посольства в Копенгагене.

"Петербург 31 марта/65.

Милый, добрый друг мой, Александр Егорович, я понимаю, что Вы должны были очень удивиться и конечно, судя по чувствам Вашим ко мне, оскорбиться моим молчанием в ответ на оба Ваши душевные, добрейшие письма. Не удивляйтесь и не оскорбляйтесь. Я Вам тотчас же хотел тогда ответить и не мог. Почему? прочтете ниже. Но Вас, друга моего в то время, когда у меня не было друзей, свидетеля и моего бесконечного счастья, и моего страшного горя (помните ту ночь в лесу, под Семипалатинском, когда мы их провожали?); друга моего и потом здесь, в Петербурге, ходатая за меня — Вас мог ли бы я забыть? Напротив, во все эти годы много раз я об Вас думал и вспоминал. Но что была моя жизнь в это время. Я Вам обязан объяснением и даже отчетом, чтоб разъяснить мое недавнее молчание на Ваши письма. Слушайте же: напишу Вам всю мою историю за все время, — впрочем не всю, этого нельзя, потому что в подобных случаях в письмах главного никогда не расскажешь. Иное просто не могу рассказывать. А потому расскажу Вам лучше, по возможности вкратце, последний год моей жизни.

Вы знаете, вероятно, что брат затеял четыре года назад журнал. Я ему сотрудничал. Все шло прекрасно. Мой "Мертвый дом" сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию. У брата были огромные долги при начале журнала, и те стали оплачиваться, — как вдруг в 63-м году, в мае, журнал был запрещен за одну самую горячую и патриотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную против правительственных действий и общественного тогдашнего настроения. Правда, и писатель был отчасти виноват (один из наших ближайших сотрудников), слишком перетонил, и его поняли обратно. Дело скоро поняли как надо, но уж журнал был запрещен. С этой минуты дела брата приняли крайнее расстройство, кредит его пропал, долги обнаружились, а заплатить было нечем. Брат выхлопотал себе позволение продолжать журнал, под новым названием "Эпоха". Позволение вышло только в конце февраля 64-го. 1-й номер не мог появиться раньше 20-го марта. (24) Журнал, значит, опоздал, подписка уже повсеместно кончилась, потому что публика подписывается на все журналы по старой привычке только в 3 месяца, в декабре, январе и феврале. Надо было удовлетворить прежних подписчиков, которые не получили расчета при прекращении "Времени". Им объявлено было, чтоб они досылали по шести рублей за "Эпоху" 1864-го года. Так как новых подписчиков почти не было, а были все старые, досылавшие по шести рублей, то, стало быть, брат должен был издавать журнал себе в убыток. Это окончательно его расстроило и доконало. Он начал делать долги, здоровье же его стало расстроиваться. Меня подле него в это время не было. Я был в Москве, подле умиравшей жены моей. Да, Александр Егорович, да, мой бесценный друг, Вы пишете и соболезуете о моей роковой потере, о смерти моего ангела брата Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня задавила! Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей, от чахотки. Я переехал — вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 64-го года, и 16 апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, и, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об Вас. Передаю Вам ее поклон, старый, добрый друг мой. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Все расскажу вам при свидании, — теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру) — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, — я, хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей. И вот уж год, а чувство все то же, не уменьшается... Бросился я,

схоронив ее, в Петербург, к брату, — он один у меня оставался, но через три месяца умер и он, прохворав всего месяц и слегка, так что кризис, перешедший в смерть, случился почти неожиданно, в три дня.

И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое, и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих. Буквально — мне не для чего оставалось жить. Новые связи делать, новую жизнь выдумывать!

Мне противна была даже и мысль об этом. Я тут в первый раз почувствовал, что их нечем заменить, что я их только и любил на свете и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокруг меня холодно и пустынно. И вот, когда я три месяца назад получил Ваше горячее, доброе письмо, полное прежних воспоминаний, мне стало так грустно, что и не знаю, как Вам выразить. Но слушайте далее.

9 апреля/65.

Девять дней прошло с тех пор, как я начал к Вам письмо, и буквально в эти девять дней я не имел ни минуты времени, чтоб его кончить. Можете ли Вы мне поверить, Александр Егорович, что в эти три месяца, после Ваших обоих писем, и особенно после второго, при котором мне больно стало от мысли: что Вы обо мне подумаете, — можете ли Вы мне поверить, что я ни одной минуты, буквально, не мог уделить, чтоб отвечать Вам, и оттого молчал до сих пор? Верьте — не верьте, и однако ж это было так, это — истина. А почему это так? — сейчас узнаете.

Продолжаю прежнее:

После брата осталось всего триста рублей, и на эти деньги его и похоронили. Кроме того, до двадцати пяти тысяч долгу, из которых десять тысяч долгу отдаленного, который не мог беспокоить его семейство, но пятнадцать тысяч по векселям, требовавшим уплаты. Вы спросите: какими же средствами мог бы он добавить шесть книг журнала за остальную половину года (он умер в июле 64 года)? Но у него был чрезвычайный и огромный кредит; сверх того, он вполне мог занять, и заем уже был в ходу. Но он умер и весь кредит журнала рушился. Ни копейки денег, чтоб издавать его, а добавить надо было шесть книг, что стоило 18000 руб. минимум, да сверх того удовлетворить кредиторов, на что надо было 15000, — итого надо было 33000, чтоб кончить год и добиться до новой подписки журнала. Семейство его осталось буквально без всяких средств, — хоть ступай по миру. Я у них остался единой надеждой, и они все, и вдова, и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно, — мог ли я их оставить? Предстояло две дороги: 1) прекратить журнал, предоставить журнал (так как журнал все-таки именье и чего-нибудь стоит) кредиторам вместе с мебелью и с домашним хламом и взять семейство к себе. Затем работать, литературствовать, писать романы и содержать вдову и сирот брата, 2-й случай) Достать денег и продолжать издание во что бы ни стало. Как жаль, что я не решился на первое! Кредиторы, конечно, не получили бы и 20 на сто. Но семейство, отказавшись от наследства, по закону не обязано было бы ничего и платить. Я же во все эти пять лет, работая у брата и в журналах, зарабатывал от восьми до десяти тысяч в год. Следственно, мог бы прокормить и их и себя, — конечно, работая с утра до ночи всю жизнь. Но я предпочел второе, то есть продолжать издание журнала. Не я,

впрочем, один предпочел это. Все друзья мои и прежние сотрудники были того же мнения.

14 апреля.

Опять перерыв был. Если б только Вы могли знать, Александр Егорович, в каких ужасных и давящих меня занятиях проходит все мое время!

Продолжаю прежнее.

К тому же надо было отдать долги брата: я не хотел, чтоб на его имя легла дурная память. Средство было: дойти до годовой подписки, оплатить часть долгу, стараться, чтоб журнал был год от году лучше, и года через три-четыре, заплатив долги, сдать кому-нибудь журнал, обеспечив семейство брата. Тогда бы я отдохнул, тогда бы я опять стал писать то, что давно хочется высказать. Я решил. Поехал в Москву, выпросил у старой и богатой моей тетки 10000, которые она назначала на мою долю в своем завещании, и, воротившись в Петербург, стал додавать журнал. Но дело было уже сильно испорчено; требовалось выпросить разрешение цензурное издавать журнал. Дело протянули так, что только в конце августа могла появиться июльская книга журнала. Подписчики, которым ни до чего нет дела, стали негодовать. Имени моего не позволила мне цензура поставить на журнале, ни как редактора, ни как издателя. Надобно было решиться на меры энергические. Я стал печатать разом в трех типографиях, не жалел денег, не жалел здоровья и сил. Редактором был один я, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги, просиживал до шести часов утра и спал по 5 часов в сутки, и хоть ввел в журнал порядок, но уже было поздно. Верите ли: 28 ноября вышла сентябрьская книга, а 13 февраля январская книга 1865-го года, значит, по 16 дней на книгу, и каждая книга в 35 листов. Чего же это мне стоило! Но главное, при всей этой каторжной черной работе я сам не мог написать и напечатать в журнале ни строчки своего. Моего имени публика не встречала, и даже в Петербурге, не только в провинции, не знали, что я редактирую журнал.

И вдруг последовал у нас всеобщий журнальный кризис. Во всех журналах разом подписка не состоялась. "Современник", имевший постоянных 5000 подписчиков, очутился с 2300. Все остальные журналы упали. У нас осталось только 1300 подписчиков.

Много причин этого журнального нашего, по всей России, кризиса. Главное, они ясны, хотя и сложны. Но об нем после. Посудите, каково положение наше. Каково, главное, мое положение! Чтоб старые братнины долги не беспокоили хода дела, я перевел их тысяч на десять на себя. Я рассчитывал, что если б журнал имел в этом году, при несчастьи, хотя бы только 2500 подписчиков вместо прежних четырех, то и тут все бы уладилось. По крайней мере, свои долги расплатили бы. Я рассчитывал верно: никогда еще не бывало с самого начала нашего журнализма, с тридцатых годов, чтоб число подписчиков убавилось в один год более, чем на 25 процентов. Приписывать худому ведению дела я не могу. Ведь и "Время" Я начал, а не брат, я его направлял и я редактировал. Одним словом, с нами случилось то же самое, как если бы у владельца или купца сгорел бы дом или его фабрика и он из достаточного человека обратился бы в банкрота.

При начале подписки долги, преимущественно еще покойного брата, потребовали уплаты. Мы платили из подписных денег, рассчитывая, что за уплатою все-таки останется чем

издавать журнал, но подписка пресеклась, и, выдав два номера журнала, мы остались без ничего.

В этакое-то время и застали меня Ваши письма. Я ездил в Москву доставать денег, искал компаньона в журнал на самых выгодных условиях, но, кроме журнального кризиса, у нас в России денежный кризис. Теперь мы не можем, за неимением денег, издавать журнал далее и должны объявить временное банкротство, а на мне, кроме того, до 10000 вексельного долга и 5000 на честное слово.

Из них три тысячи надо заплатить во что бы то ни стало. Кроме того, 2000 нужно для того, чтоб выкупить право на издание моих сочинений, которые в закладе, и приступить к их изданию самому. Книгопродавцы дают мне за это право 5000 рублей. Но это мне невыгодно. Если я буду издавать их сам, — будет выгоднее. Теперь, чтоб заплатить долги, хочу издавать новый роман мой выпусками, как делается в Англии. Кроме того, хочу издавать "Мертвый дом" тоже выпусками и с иллюстрацией, роскошным изданием, и наконец, в будущем году, полное собрание моих сочинений. Все это, надеюсь, даст тысяч пятнадцать, — но какова каторжная работа.

О, друг мой, я охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтоб только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из денег задавила и съела меня.

И все-таки для начала мне нужно теперь хоть три тысячи. Бьюсь по всем углам, чтоб их достать, — иначе погибну. Чувствую, что только случай может спасти меня. Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние, и вдобавок — один, — прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть!

Описал я Вам все и вижу, что главного — моей духовной, сердечной жизни я не высказал и даже понятия о ней не дал. Так будет и всегда, пока мы в письмах. Я письма не умею писать и об себе не умею в меру писать. Впрочем, оно и трудно: много лет легло между нами, да и каких лет!

И как кстати Вы теперь отозвались мне. Всё Вы мне напомнили прежнее. Я люблю Вас прежнего, молодого, доброго, и таким Вас буду представлять себе всю мою жизнь. Кстати: я Вас еще совсем не знаю как семьянина. Кажется мне (припоминая прежнее), что Вы должны быть теперь счастливы. Но очень хочу угадать, какой новый оттенок, мне неизвестный, положила семейная жизнь на Вашу душу.

Благодарю Вас за фотографии Вашего семейства. Я долго рассматривал карточки, вглядывался и угадывал.

За границей я был два раза — летом 62 и 63 года. Каждый раз ездил на три месяца, был в Германии (почти во всей), в Швейцарии, Франции и в Италии (тоже во всей). Здоровье мое за границей, в оба раза, воскресало с быстротой удивительной. Я положил ездить каждый год на три месяца, тем более, что это ничего не значит в денежном отношении, при дороговизне нашей здешней жизни. Ездить же я хотел для поправки здоровья, чтоб отдыхать, поправляться и тем удобнее работать остальные 9 месяцев года в России. Но в прошлом году смерть брата заставила меня остаться, а нынешние долги и занятия

Летом 1865 года, в конце июля, Федор Михайлович уехал за границу. В сентябре и октябре он жил в Висбадене (см. письма к Врангелю). В ноябре он уже опять был в Петербурге и оставался здесь весь 1866 год. Этот год имел в его жизни большое значение. С января стал появляться в "Русском вестнике" роман "Преступление и наказание", а осенью, 4-го октября 1866 года, Федор Михайлович познакомился с Анной Григорьевной Сниткиной, своею будущею женою.

В продолжение всего этого времени мы с ним не видались. У нас вышла первая размолвка, о которой не стану рассказывать. Отчасти, но лишь в самой ничтожной части, тут участвовали и те неудовольствия и затруднения, которые бывают при падении общего дела. Приходится делить общее несчастье, и каждый из участников естественно старается, чтобы его доля была как можно меньше. Грустно вспоминать черты эгоизма, которые таким образом обнаруживаются. Но повторяю, дела не имели при кашей размолвке никакого существенного значения. Нечего и говорить, что Федор Михайлович был очень внимателен к своим сотрудникам, так что все они сохранили к нему уважение и расположение. Но он сам был в тисках и невольно раздражался. Эта тень неудовольствия, однако же, быстро прошла. Д. В. Аверкиев и я были свидетелями со стороны Федора Михайловича на его свадьбе, и много других сошлись в церкви и у него на дому после совершения таинства. Впрочем, всего лучше привести ту записку, которая когда-то так тронула и обрадовала меня.

"Добрейший
Николай Николаевич,

и
многоуважаемый

В воскресенье, 12-го февраля, если не произойдет чего-нибудь слишком необычайного, будет моя свадьба, вечером, в 8-м часу, в Троицком (Измайловском) соборе. — Если Вы, добрейший Николай Николаевич, захотите припомнить многие годы наших близких и приятельских отношений, то, вероятно, не подивитесь тому, что я, в счастливую (хотя и хлопотливую) минуту моей жизни, припомнил об Вас и пожелал сердцем видеть Вас в числе моих свидетелей и потом в числе гостей моих, по возвращении молодых домой.

Я имел твердое (и давнишнее) намерение просить Вас лично; но в настоящую минуту я, во-первых, захворал, а во-вторых — столько хлопот, столько еще не сделанных и не исполненных мелочей, покупок, распоряжений, что, при скверной моей памяти, просто растерялся, и потому простите великодушно, что приглашаю Вас запиской. К тому же я до того одичал в последний год затворнической жизни и отупел от 44-х печатных, написанных мною в один год, листов, что даже и записку-то эту написал с чрезвычайным трудом, несмотря на то, что чувствую искренно и о слоге не старался.

А давненько-таки мы не видались.

До свидания же. Крепко жму Вам руку.

Ваш искренний Федор Достоевский".

По болезни Федора Михайловича свадьба была отложена и происходила только 15-го февраля, в среду.

Из этой записки уже видно, как тяжелы были для Федора Михайловича эти два года, 1865 и 1866. И нельзя не удивляться той энергии, которую он обнаружил в этом случае.

Больной, одинокий, притесняемый кредиторами, обремененный заботами о семье покойного брата, он успевает справиться со всеми этими тягостями и пишет лучшее свое произведение "Преступление и наказание". Как будто все эти потери и гнетущие обстоятельства только давали ему более глубокий взгляд, только усиливали строгость и силу его творчества. Чрезвычайно характерны его слова (в предыдущем письме к Врангелю):

"А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть!" И действительно, его ждала новая жизнь — новый период деятельности и известности, новая семья. Может быть, приведенные слова даже прямо относятся к его мечтам о женитьбе. Ставши вдовцом, он иногда, несмотря на всю тяжесть своих обстоятельств, действительно смотрел женихом — так, по крайней мере, замечали зоркие в этом отношении женские глаза. Эта энергия и эти жизненные стремления достигли своей цели. Новая женитьба скоро доставила ему в полной и даже необычайной мере то семейное счастье, которого он так желал; тогда стала легче и успешнее и жестокая борьба с нуждой и долгами, борьба, однако же, долго тянувшаяся и кончившаяся победою разве лишь за два, за три года до смерти неутомимого борца. Чтобы дать ясное понятие о трудах и усилиях Федора Михайловича, приведем опять его письмо, писанное в этот трудный период его жизни к тому же А. Е. Врангелю.

"Петербург 18 февраля/66.

Добрейший и старый друг мой, Александр Егорович, — я перед Вами виноват в долгом молчании, но виноват без вины. Трудно было бы мне теперь описать Вам всю мою теперешнюю жизнь и все обстоятельства, чтобы дать Вам ясно понять все причины моего долгого молчания. Причины сложные и многочисленные, и потому их не описываю, но кой-что упомяну. Во-1-х, сижу над работой как каторжник. Это тот роман в "Русский вестник". Роман большой в 6 частей. В конце ноября было много написано и готово; я все сжег; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова. Работаю я дни и ночи и все-таки работаю мало. По расчету выходит, что каждый месяц мне надо доставить в "Русский вестник" до 6-ти печатных листов. Это ужасно, но я бы доставил, если б была свобода духа. Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, то есть грозят посадить в тюрьму. До сих пор не уладил с ними, и еще не знаю наверно, — улажу ли? — хотя многие из них благоразумны и принимают предложение мое рассрочить им уплату на 5 лет; но с некоторыми не мог еще до сих пор сладить. Поймите, каково мое беспокойство. Это надрывает дух и сердце, расстраивает на несколько дней, а тут садись и пиши. Иногда это невозможно. Вот почему и трудно найти минуту спокойную, чтоб поговорить с старым другом. Ей-богу! Наконец, болезни. Сначала, по приезде, страшно беспокоила падучая; казалось, она хотела наверстать мои три месяца за границей, когда ее не было. А теперь вот уж месяц замучил меня геморрой. Вы об этой болезни, вероятно, не имеете и понятия и каковы могут быть ее припадки. Вот уже третий год сряду она повадилась мучить меня два месяца в году, в феврале и в марте. И каково же: пятнадцать дней (!) должен был я пролежать на моем диване и 15 дней не мог взять пера в руки. Теперь в остальные 15 дней мне предстоит написать 5 листов! И лежать совершенно здоровому всем организмом потому собственно, что ни стоять, ни сидеть не мог от судорог, которые сейчас начинались, только что я вставал с дивана! Теперь дня три, как мне гораздо легче. Лечил меня Besser. Бросаюсь на свободную минуту, чтоб поговорить с друзьями. Как меня мучило, что я Вам не отвечал! Но я и не

Вам, я и другим, которые имеют право на мое сердце, не отвечал. Упомянув Вам о моих хлопотливых дрязгах, я ни слова не сказал о неприятностях семейных, о хлопотах бесчисленных по делам покойного брата и его семейства и по делам покойного нашего журнала. Я стал нервен, раздражителен, характер мой испортился. Я не знаю, до чего это дойдет. Всю зиму я ни к кому не ходил, никого и ничего не видал, в театре был только раз, на первом представлении "Рогнеды". И так продолжится до окончания романа, — если не посадят в долговое отделение.

Не знаю еще, что буду делать, когда кончу роман. Главное, тогда подновится мое литературное имя, и можно будет к осени что-нибудь предпринять. У меня есть план, но надо быть благоразумным.

Вот Вам еще факт: страшно усиливается подписка на все журналы и книжная торговля. Это последние сведения от книгопродавцев, да и сам имею факты.

Теперь — ответ на Ваши слова. Вы пишете, что мне лучше служить в коронной службе; вряд ли? Мне выгоднее там, где денег больше можно достать. Я в литературе имею уже такое имя, что верный кусок хлеба (кабы не долги) всегда бы у меня был, да еще сладкий, богатый кусок, как и было вплоть до последнего года. Кстати расскажу Вам о теперешних моих литературных занятиях, и из этого вы узнаете, в чем тут дело. Из-за границы, будучи придавлен обстоятельствами, я послал Каткову предложение за самую низкую для меня плату 125 р. с листа ихнего, то есть 150 р. с листа "Современника". Они согласились. Потом я узнал, что согласились с радостью, потому что у них из беллетристики на этот год ничего не было: Тургенев не пишет ничего, а с Львом Толстым они поссорились. Я явился на выручку (все это я знаю из верных рук). Но они страшно со мной осторожничали и политиковали. Дело в том, что они страшные скряги. Роман им казался велик. Платить за 25 листов (а, может быть, и за 30) по 125 р. их пугало. Одним словом, вся их политика в том (уж ко мне засылали), чтоб сбавить плату с листа, а у меня в том, чтоб набавить. И теперь у нас идет глухая борьба. Им очевидно хочется, чтоб я приехал в Москву. Я же выжидаю, и вот в чем моя цель: если Бог поможет, то роман этот может быть великолепнейшею вещью. Мне хочется, чтоб не менее 3-х частей (то есть половина всего) была напечатана, эффект в публике будет произведен, и тогда я поеду в Москву и посмотрю, как они тогда мне сбавят? Напротив, может быть, прибавят. Это будет к Святой. И, кроме того, стараюсь не забирать там денег вперед; жмусь и живу нищенски. Мое от меня не уйдет, а если забирать вперед, то я уже нравственно не свободен, когда буду впоследствии окончательно говорить с ними об уплате. Недели две тому назад вышла первая часть моего романа в первой январской книге "Русского вестника". Называется "Преступление и наказание". Я уже слышал много восторженных отзывов. Там есть смелые и новые вещи. Как жаль мне, что я Вам не могу послать! Неужели у Вас никто не получает "Русского вестника"?

Теперь слушайте: предположите, что мне удастся хорошо окончить, так, как бы я желал; ведь я мечтаю, знаете, об чем: продать его нынешнего же года книгопродавцу вторым изданием, и я возьму еще тысячи две или три даже. Ведь этого не даст коронная служба? А продам-то я вторым изданием наверно, потому что ни одно мое сочинение не обходилось без этого. Но вот в чем беда: я могу испортить роман, и я это предчувствую. Если посадят в тюрьму за долги, то наверно испорчу и даже не докончу; тогда все лопнет.

Но я слишком много разболтался о себе. Не считите за эгоизм: это бывает со всеми, которые слишком долго сидят в своем углу и молчат. Вы пишете, что Вы и все Ваше семейство перехворали. Это тяжело: хоть здоровьем-то заграничная жизнь должна бы Вас была вознаградить! Что было бы с Вами и с Вашим семейством эту зиму в Петербурге!

Это ужас, что у нас было, а летом еще, пожалуй, холера пожалует. Передайте Вашей жене мои искренние чувства уважения и желание всевозможного ей счастья, а главное — пусть начнется с здоровья! Добрый друг мой, Вы по крайней мере счастливы в семействе, а мне отказала судьба в этом великом и единственном человеческом счастье. Да, для семейства Вы многим обязаны. Вы мне пишете о предложении Вашего отца и что Вы отказались. Я не имею права ничего Вам тут советовать, собственно потому, что в полноте дела не знаю. Но вот в чем примите совет друга: не решайтесь поспешно, не говорите последнего слова и оставьте окончательное решение до лета, когда сами приедете. Эти решения делаются на всю жизнь; тут переворот всей жизни. Даже, если б Вы и порешили летом продолжать службу, то все-таки не говорите окончательного слова и оставьте разрешить впоследствии обстоятельствам.

Летом, я думаю, наверно буду в Петербурге; стало быть, мы увидимся. Тогда поговорим о многом. Кстати, я очень рад, что Вас так интересуется наша внутренняя, русская, умственная и гражданская жизнь. Мне, как другу, очень приятно, что Вы такой, хотя не во всем с Вами согласен. На многое смотрите Вы несколько исключительно. Не черпаете ли Вы известия из иностранных газет? Там систематически искажают всё, что касается России. Но это обширный вопрос. По-моему, живя за границей, действительно подпадаешь под влияние иностранной прессы. Я это даже на себе испытал. Но однако ж во многом, и очень даже, я предчувствую, что с Вами согласен.

"Весть" издается двумя издателями-редакторами: Скарятиним и Юматовым. Прощайте, добрый друг мой, до свиданья! Надеюсь в будущем письме обменяться с Вами более счастливыми известиями. Дал бы Бог! А теперь

Ваш весь Ф. Достоевский.

Поцелуйте милых деток Ваших".

(Приписка сбоку.) "Все Ваши оставшиеся у меня вещи в целости и лежат в комод. Друг мой, я Вам должен. Подождите несколько; отдам. Теперь же скряжничаю, а если б Вы знали, сколько уж должен был истратить здесь денег!"

Это письмо лучше всяких рассказов изображает и денежные дела, и литературные труды, и состояние духа и тела Федора Михайловича. Прибавлю несколько подробностей, сохранившихся в моей памяти. Впечатление, произведенное романом "Преступление и наказание", было необычайное. Только его и читали в этом 1866 году, только об нем и говорили охотники до чтения, говорили, обыкновенно жалуясь на подавляющую силу романа, на тяжелое впечатление, от которого люди с здоровыми нервами почти заболели, а люди с слабыми нервами принуждены были оставлять чтение. Но всего поразительнее было случившееся при этом совпадение романа с действительностью. В то самое время, когда вышла книжка "Русского вестника" с описанием преступления Раскольникова, в газетах появилось известие о совершенно подобном преступлении, происшедшем в Москве. Какой-то студент убил и ограбил ростовщика и, по всем признакам, сделал это из нигилистического убеждения, что дозволены все средства, чтобы исправить неразумное положение дел. Убийство было совершено, если не ошибаюсь, дня за два или за три до появления "Преступления и наказания". Не знаю, были ли поражены этим читатели, но Федор Михайлович очень это заметил, часто говорил об этом и гордился таким подвигом художественной проницательности. Припоминаю я также, что покойный М. П. Покровский, много лет спустя, рассказывал, как сильно подействовал этот роман на молодых людей, бывших в ссылке в одном из городов Европейской России.

Нашелся даже юноша, который стал на сторону Раскольникова и некоторое время носился с мыслью совершить нечто подобное его преступлению, и лишь потом одумался. Так верно была схвачена автором эта логика людей, оторвавшихся от основ и дерзко идущих против собственной совести.

Успех был чрезвычайный, но не без сопротивления. В начале 1867 года я поместил в "Отечественных записках" разбор "Преступления и наказания", разбор, писанный очень сдержанным и сухим тоном. Эта статья памятна мне в двух отношениях. Федор Михайлович, прочитавши ее, сказал мне очень лестное слово: "Бы одни меня поняли". Но редакция была недовольна и прямо меня упрекнула, что я расхвалил роман по-приятельски. Я же, напротив, был виноват именно в том, что холодно и вяло говорил о таком поразительном литературном явлении.

XVI. ЖЕНИТЬБА

С Анной Григорьевной Федор Михайлович познакомился по тому поводу, что вздумал прибегнуть к стенографии. Осенью 1866 года ему нужно было к сроку исполнить одно обязательство. Именно, — он продал Стелловскому право на издание своих сочинений, с условием, что в это издание войдет повесть, нигде не напечатанная. Срок доставки повести был обозначен в контракте; Федор Михайлович начал писать "Игрока", но видя, что не успеет, если будет писать обыкновенным порядком, пригласил к себе стенографку; к нему явилась незнакомая девушка, — которой суждено было стать его женою. Впоследствии Анна Григорьевна постоянно продолжала ему помогать. Именно, когда у него были приготовлены черновые наброски со всевозможными поправками, помарками, вставками и т. д., он диктовал ей с этих набросков. Она записывала стенографически, а потом переписывала свою стенографию; получался четкий и отчетливый список.

Подробности о делах того времени, приведших к такому счастливому событию, сохранились в одном письме Федора Михайловича (к Василию Ивановичу Губину, из Дрездена, от 8-го мая 1871 года), из которого мы приведем здесь выдержки.

"Стелловский купил у меня сочинения летом 65 года следующим образом: я был в обстоятельствах ужасных. По смерти брата в 64 году я взял многие из его долгов на себя и 10000 руб. собственных денег (доставшихся мне от тетки) употребил на продолжение издания "Эпохи", братнего журнала, в пользу его семейства, не имея в этом журнале ни малейшей доли и даже не имея права поставить на обертке мое имя как редактора. Но журнал лопнул, пришлось оставить. Затем я продолжал платить долги брата и журнальные, чем мог. Много я надавал векселей, между прочим (сейчас после смерти брата) одному Д<емису>; этот Д<емис> пришел ко мне (он доставлял брату бумагу) и умолял переписать векселя брата на мое имя и давал честное слово, что он будет ждать сколько угодно. Я сдуру переписал. Летом 65 года меня начинают преследовать по векселям Д<емис>а и еще каким-то (не помню). С другой стороны, служащий в типографии (тогда у Праца) Гаврилов предъявил тоже свой вексель в 1000 рублей, который я ему выдал, нуждаясь в деньгах по продолжению чужого журнала..... И вот в то же самое время он <Стелловский> вдруг присылает с предложением: не продам ли я ему сочинения за три тысячи, с написанием особого романа и проч. и проч. — то есть на самых унижительных и невозможных условиях. Подождать бы, так я бы взял с книгопродавцев за право издания по крайней мере вдвое, а если б подождать год, то конечно втрое, ибо через год одно "Преступление и наказание" продано было вторым изданием за 7000 долгу (всё по журналу, — Базунову, Працу и одному бумажному

поставщику). №. Таким образом, я на братнин журнал и на его долги истратил 22 или 24 тысячи, то есть уплатил своими силами, и теперь еще на мне долг тысяч до пяти.

Стелловский дал мне тогда 10 или 12 дней сроку думать. Это же был срок описи и ареста по долгам. Заметьте, что Д<емисов>ы векселя предъявил некто надворный советник Б<очаров>. Когда-то сам пописывал, переводил Гете; ныне же, кажется, мировым судьей на Васильевском Острове..... В эти десять дней я толкался везде, чтоб достать денег для уплаты векселей, чтоб избавиться продавать сочинения Стелловскому на таких ужасных условиях. Был и у Б<очарова> раз 8 и никогда не заставал его дома. Наконец узнал (от квартального, с которым сблизился и которого фамилию теперь забыл), что Б<очаров> — друг Стелловского давнишний, ходит по его делам и проч. и проч. Тогда я согласился, и мы написали этот контракт, которого копия у Вас в руках. Я расплатился с Д<емисом>, с Гавриловым и с другими и с оставшимися 35 полуимпериалами поехал за границу.

Я воротился в октябре с начатым за границей романом "Преступление и наказание" и войдя в сношение с "Русским вестником", от которого и получил несколько денег вперед. Теперь заметьте хорошенько: по написании летом контракта с Стелловским, я прямо сказал Стелловскому, что я не успею написать ему роман к 1-му ноября 65 года. Он отвечал мне, что он и не претендует, что он и издавать не думает раньше как через год, но просил меня, чтоб я к 1-му ноября 66-го года был аккуратнее. Всё это было на словах и между четырех глаз, но страшные неустойки, если я манкирую к 1-му ноябрю 66 года, остались в контракте".

Вот обстоятельства, по которым никакие отсрочки в писании романа оказывались невозможными и нужно было прибегнуть к стенографии. Анну Григорьевну Сниткину рекомендовал Федору Михайловичу Павел Матвеевич Ольхин, известный преподаватель стенографии. Он в 1866 году в марте месяце открыл в здании шестой гимназии курс стенографии, на который сначала явилось множество желающих приобрести средство к независимому заработку, и в числе их Анна Григорьевна. Записалось сперва до 150 человек, но быстро стали отставать, так что к маю осталась едва ли половина начавших курс, а в сентябре всех желавших продолжать было не более 12-ти. Самую успешною ученицею была Анна Григорьевна. Она незадолго перед этими курсами кончила курс в Мариинской гимназии и в этом же году (28 апреля) потеряла отца; поэтому занятия были для нее и средством заглушить горе и надеждою на возможность что-нибудь зарабатывать.

На предложение П. М. Ольхина — взять работу у Федора Михайловича Анна Григорьевна согласилась с радостью. Достоевский был одним из любимых писателей ее покойного отца, — да и вся семья читала его с жадностию.

У других своих родственников Анна Григорьевна даже получила название "Неточки Незвановой", на том основании, что приходила к ним иногда незваная.

Повесть "Игрок" была уже начата, но только начата Федором Михайловичем, и он стал диктовать Анне Григорьевне продолжение. Нужно было написать не менее 7 печатных листов. Название было первоначально "Рулетенбург", но потом, по просьбе Стелловского, переименовано на "Игрок". Повесть эта появилась в издании: "Собрание сочинений русских авторов", в которое вошли сочинения А. Ф. Писемского, Вс. Вл. Крестовского, гр. Л. Н. Толстого и наконец Ф. М. Достоевского. Большие томы в два столбца.

Анна Григорьевна обыкновенно приходила к Федору Михайловичу около полудня, и они работали до 2-х или 3-х часов. Сначала Федор Михайлович прочитывал то, что было им

продиктовано накануне и теперь было принесено уже переписанное, а потом диктовал дальше. Так продолжалось с 4-го по 30-е октября, когда повесть была кончена. Этому окончанию очень радовался Федор Михайлович и даже затевал по этому поводу обед с близкими приятелями, 31-го октября он повез рукопись к Стелловскому, но не застал его дома и даже не мог узнать, где он находится. Тогда Федор Михайлович поехал в магазин Стелловского (на Б. Морской) и хотел сдать рукопись под расписку приказчику, но тот отказался принять ее, говоря, что хозяин на это его не уполномочивал. Затруднение было не малое, и из него вывел Федора Михайловича один из знакомых, посоветовав ему отвезти рукопись в ту часть, где проживал Стелловский, и вручить приставу под расписку для передачи Стелловскому. Так и сделано было.

Свадьба Федора Михайловича и Анны Григорьевны состоялась 15 февраля 1867 года.

От этого брака было четверо детей. Первым ребенком была дочь, Софья, родившаяся в Женеве 22 февраля 1868 и там же скончавшаяся 12 мая того же года. Второе дитя, дочь Любовь, родилась в Дрездене 14 сентября 1869 года. Третье, сын Федор, родился в Петербурге 16 июля 1871 года. Последний ребенок, Алексей, родился в Старой Руссе 12 августа 1875 года и умер в Петербурге 16 мая 1878 года.

XVII. ГОДЫ ЗА ГРАНИЦЕЮ

Через два месяца после свадьбы, именно 14-го апреля 1867 года, молодые уехали за границу, где им суждено было пробыть гораздо дольше, чем они предполагали и желали. Они вернулись в Петербург только 8-го июля 1871 года, следовательно, провели вне России четыре года с большим лишком. За это время у меня не может быть никаких воспоминаний, кроме заочных. Ко зато к этому времени относятся два длинные ряда писем, один к А. Н. Майкову, другой ко мне. Читатель найдет эти письма в приложении и из них всего лучше может познакомиться со многими чертами и внешней и внутренней жизни Федора Михайловича.

Скажу несколько слов вообще об этих письмах. В них постоянно слышится чистота намерений, искренность, прямота. Не забудем, что автор их был человек, в котором непрерывно совершались очень сильные и сложные душевные движения; но из писем ясно, что он легко становился выше этих движений и с этой высоты умел судить свои дела и отношения, себя и других, судить беспристрастным, великодушным судом. Он рассказывает свои слабости и затруднения, он волнуется и просит, жалуется и кается, но везде видно, что он никогда не теряет совершенно ни твердости, ни правильного взгляда на обстоятельства и людей.

Письма эти составляли большую отраду тех, к кому они были писаны. Скажу, по крайней мере, про себя, что чем далее шло время, тем наши заочные отношения становились все лучше и теплее, тем оживленнее шла переписка. Всякие мелочи, случайности, посторонние чувства отбрасываются в сторону, когда мы обращаемся к отсутствующему, и потому тут люди сближаются лучшими своими сторонами, и сближаются иногда теснее, чем при свиданиях и разговорах. Но, кроме того, я совершенно убежден, что эти четыре с лишним года, проведенные Федором Михайловичем за границею, были лучшим временем его жизни, то есть таким, которое принесло ему всего больше глубоких и чистых мыслей и чувств. Он очень усиленно работал и часто нуждался; но он имел покой и радость счастливой семейной жизни, и почти все время жил в совершенном уединении, то есть вдали от всяких значительных поводов оставлять прямой путь развития своих мыслей и глубокой душевной работы. Рождение детей, забота об них, участие одного супруга в страданиях другого, даже самая смерть первого ребенка, — всё это чистые, иногда

высокие впечатления. Нет сомнения, что именно за границей, при этой обстановке и этих долгих и спокойных размышлениях, в нем совершилось особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем. В его письмах под конец вдруг раздалась звуки этой струны; она стала звучать в нем так сильно, что он не мог оставлять эти звуки для себя одного, как это делал прежде. Об этой существенной перемене однако же письма не дают полного понятия. Но она очень ясно обнаружилась для всех знакомых, когда Федор Михайлович вернулся из-за границы. Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того; он переменялся в обращении, получившем большую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения и на губах появлялась нежная улыбка. Помню маленькую сцену в Славянском комитете. Мы входили вместе, и с нами поздоровался И. И. Петров. "Кто это?" — спросил меня Федор Михайлович, или не знавший его, или забывший, как он беспрестанно забывал людей, с которыми даже часто встречался. Я сказал ему и прибавил: "какой чудесный, чудеснейший человек!" Глаза Федора Михайловича ласково заблестели, он с большою любовью поглядел на других присутствовавших и потихоньку сказал мне: "Да, все люди — существа прекрасные!" Искренность и теплота так и светились в нем при этих словах.

Лучшие христианские чувства, очевидно, жили в нем, те чувства, которые все чаще и яснее выражались и в его сочинениях. Таким он вернулся из-за границы.

Указавши общий характер этого заграничного житья и его внутреннее значение, приведу теперь внешние обстоятельства и подробности, чтобы читатель имел руководящую нить при чтении писем.

В 1867 году (14 апреля), выехавши за границу, Достоевские через Берлин проехали в Дрезден и пробыли здесь два месяца. Федор Михайлович принялся тут за статью "Мои воспоминания о Белинском". Эта статья по условию готовилась им для литературного сборника "Чаша", который затеян был в Москве покойным К. И. Бабиковым, одним из молодых сотрудников "Времени" и "Эпохи", автором романа "Глухая улица" и других произведений, имевших некоторый успех и вполне его стоивших. Статья эта была кончена только в Женеве, уже в половине сентября, была отослана А. Н. Майкову, им передана А. Ф. Базунову и затем пропала без вести, как и другие статьи, приготовленные для "Чаши". Этому сборнику не суждено было явиться в свет.

В Дрездене Анна Григорьевна принялась усердно изучать "Галерею". Федор Михайлович также любил ходить туда, но останавливался преимущественно на своих любимых картинах. Это были: "Сикстинская Мадонна", "Ночь" Корреджио, "Христос с монетой" Тициана, "Голова Христа" Аннибала Караччи и "Abendlandschaft" Клод Лоррена. О последней картине с большим одушевлением говорится в "Подростке". Кроме того, он полюбил картины Рюисдаля, особенно его "Охоту".

В половине июня 1867 года Достоевские выехали из Дрездена в Швейцарию, по дороге остановились в Баден-Бадене и вынуждены были прожить здесь полтора месяца. Федор Михайлович увлекся рулеткою, сперва выиграл, потом проигрался, и только благодаря деньгам, полученным от М. Н. Каткова, мог выехать из Баден-Бадена. В Женеву они приехали с 30-ю франками; но душевное настроение Федора Михайловича сейчас же поправилось, когда он избавился, наконец, от душившего его два месяца кошмара — мечты выиграть на рулетке.

В Женеве проведена была зима 1867—68 года. Федор Михайлович писал в это время "Идиота", который стал появляться в "Русском вестнике" с января 1868 года. Жизнь

Достоевские вели уединенную и однообразную. Федор Михайлович вставал в 11 или 12 часов, пил кофе, садился за работу и работал до 3-х; потом со своей черновой диктовал Анне Григорьевне. В четыре часа они шли обедать в какой-нибудь ресторан; после обеда Федор Михайлович шел читать русские газеты. Вечером перед чаем шли гулять; потом в 10 часов Федор Михайлович снова садился за работу и занимался до 4 или 5 часов утра.

Знакомых в Женеве не было никого, кроме Огарева, который иногда заходил и даже выручал Достоевских в случае крайней нужды, давая займы пять или десять франков. Рождение дочери (22 февраля 1868) было большим счастьем для обоих супругов и очень оживило Федора Михайловича. Все свободные минуты он проводил у ее колясочки и радовался каждому ее движению. Но это продолжалось менее трех месяцев. Смерть ее была страшным и неожиданным ударом. Федор Михайлович всю жизнь не мог забыть свою первую девочку и всегда вспоминал о ней с сердечной болью. В одну из своих поездок в Эмс он нарочно съездил в Женеву, чтобы побывать на ее могиле.

В Женеве, кроме того, что все напоминало Достоевским об их потере, было вообще неудобно и неприятно. В конце мая 1868 года им удалось, наконец, из нее выбраться, и они поселились в Vevey, на Женевском озере, и тут провели лето. В начале сентября перебрались через Симплон в Италию, пробыли два месяца в Милане и поселились на зиму (1868—69) во Флоренции. Все это время продолжалось писание "Идиота", окончание которого появилось отдельным приложением к "Русскому вестнику" 1869 (к январской или февральской книжке).

Жизнь во Флоренции была так же однообразна, как в Женеве. Но здесь были знаменитые галереи, и не только Анна Григорьевна, но и Федор Михайлович часто посещали Uffizi и Palazzo Pitti. Любимые его картины были: "Madonna della sedia" и "Иоанн Креститель" Рафаэля. Посещались также, разумеется всегда вдвоем, различные церкви и монастыри. Федор Михайлович особенно восхищался колокольнею (campanile) собора Maria del Fiore, а также удивительными дверями Battisterio, porta Ghiberti. Восхищение его доходило до того, что он не раз мечтал, как хорошо бы иметь столько денег, чтобы купить фотографию этих дверей в натуральную величину.

Во Флоренции была читальня, где получались и русские газеты и журналы. Кроме того, Федор Михайлович перечитывал здесь писателей сороковых и пятидесятых годов, особенно Бальзака и Жоржа Занда. Знакомых и во Флоренции никого не было, так что в течение десяти месяцев житья в Италии Достоевским не пришлось ни разу говорить с кем-нибудь по-русски. Федор Михайлович всегда, впрочем, с чрезвычайной симпатией относился к итальянцам, находил их простыми и добродушными, а людей из простого народа похожими на русских мужиков и баб.

Иногда Достоевские ходили и в театр, но очень редко, так как постоянно нуждались в деньгах.

В июле 1869 года они оставили Флоренцию и через Венецию, Триест, Вену и Прагу вернулись в Дрезден.

Венеция произвела на Федора Михайловича чарующее впечатление; часто он говорил потом, как о любимой мечте, о желании поехать опять в Венецию, а потом на восток, в Константинополь и Иерусалим.

Сначала решено было поселиться в Праге; Федор Михайлович очень интересовался тогда славянами и хотел познакомиться с Ригром и Палацким. По несчастию, в Праге

невозможно было найти меблированной квартиры, а покупать мебель было не на что. Пришлось поселиться в Дрездене. Здесь 14 сентября родилась вторая дочь и наполнила жизнь скитающихся супругов новыми заботами и радостями. Федор Михайлович был очень счастлив, что родилась девочка, как он этого постоянно желал после смерти первой дочери. Он был занят новым дитятею беспрестанно, и первый вопрос его по пробуждении был: "Что Лиля?" Он угадывал и исполнял все ее малейшие желания.

В конце 1869 года писалась повесть "Вечный муж", а весь 1870 год роман "Бесы", который "Русский вестник" стал печатать с начала 1871 года.

Знакомых и в Дрездене было очень мало; Федор Михайлович вообще не любил сближаться с русскими за границею. Газеты читались по-прежнему; Федор Михайлович, как и вся Россия, живо интересовался военными действиями во время франко-прусской войны и приходил в отчаяние от поражения французов, на стороне которых были все его симпатии.

Федор Михайлович во все время пребывания за границею получал "Русский вестник", а с 1869 года и "Зарю". Но кроме того он читал и другие русские книги. Некоторые были взяты им с собою, например, "Странствия инока Парфения", "Сочинения" Белинского, "История России" Соловьева; другие он выписывал, например, "Войну и мир" Л. Н. Толстого. Но постоянным чтением его было Евангелие; он читал его по той самой книге, которую имел в каторге и с которою никогда не расставался.

В Дрездене пришлось пробыть почти два года и, по свидетельству Анны Григорьевны, которой мы обязаны многими из предыдущих подробностей, житье за границею стало особенно тяжело в эти годы для Федора Михайловича. Он все больше тяготился мыслью, что отстал от России, не знает ее. В своих письмах он часто выражает эту мысль и тоску по России. Но воротиться было трудно, потому что нужно было сразу иметь порядочные деньги; приходилось бы не только расплатиться на месте, не только обзаводиться в Петербурге, но и платить по векселям и долгам, оставшимся от "Эпохи". Долго Достоевские поджидали благоприятных обстоятельств; но собрать сколько-нибудь денег им не удавалось. Несмотря на чрезвычайно скромную жизнь, все получавшиеся деньги уходили; значительная часть их шла на поддержку вдовы покойного брата, а также пасынка, кроме того на уплату процентов за заложенные при отъезде вещи (которые в конце концов все-таки пропали). Не видя выхода из этих затруднительных обстоятельств и в то же время чувствуя, что им стало совершенно невыносимо долее оставаться за границею, Достоевские решились наконец принять все тяжелые последствия своего приезда и вернулись в Петербург 8-го июля 1871 года. Здесь 16-го июля у них родился первый их сын, Федор.

XVIII. ЖИЗНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Последнее десятилетие своей жизни Федор Михайлович провел в Петербурге, делая конечно некоторые поездки, особенно летом. Характер этого периода — более и более порядка и определенности всех внешних обстоятельств, отсутствие всяких передраг и переворотов, лучшее и лучшее денежное положение, а вместе с тем все шире и шире развертывающаяся деятельность и все быстрее и быстрее возрастающая популярность.

Особенные эпизоды этого периода составляют редактирование "Гражданина" в 1873 году и издание "Дневника писателя" в 1876 и 1877 годах.

Редакция "Гражданина" была предложена Федору Михайловичу князем Вл. П. Мещерским, который, познакомившись с Федором Михайловичем, почувствовал к нему чрезвычайное расположение, охотно и искренно поддавался его влиянию. За редактирование Федор Михайлович получал 250 р. в месяц, сверх платы за статьи. Читатели, которые вздумают перечесть "Гражданин" за этот год, тотчас увидят, как много старания и труда положено было на журнал его редактором. Заботливость была величайшая. С своей стороны, несмотря на несколько охладившиеся отношения, я считал долгом усердно писать тогда в "Гражданине", в котором, впрочем, был сотрудником с самого его начала; только в первых месяцах 1873 года мне не пришлось участвовать в журнале, потому что меня не было в Петербурге. Около Святой, мне помнится, произошла в кружке "Гражданина" большая тревога; говорили, что издание невозможно продолжать, и Федор Михайлович был некоторое время в большом беспокойстве. Но все кончилось благополучно, и журнал до конца года издавался под тою же редакциею и с тою же заботливостию. Не могу ничего сказать о том, какой успех имел "Гражданин" в этом году и по каким поводам и соображениям Федор Михайлович отказался потом от его редакции.

"Дневник писателя", который стал выходить с 1876 года, имел величайший успех и был истинно счастливой мыслью, вполне соответствовал потребностям и приемам писания Федора Михайловича. Это был собственно ряд фельетонов, касавшихся всевозможных предметов, но преимущественно посвященных общественным вопросам и литературе. Достоевский получал таким образом возможность высказывать в совершенно вольной форме те мысли, которые постоянно в нем кипели и были возбуждаемы его всегдашним пристальным вниманием к совершающейся вокруг него жизни. Тон этих фельетонов был необыкновенно живой и горячий, но под их волнением слышалась полная твердость убеждений и взглядов. Федор Михайлович говорил здесь с авторитетом, и его речи иногда достигали удивительного мастерства, соединяя серьезность с шутливостью, важность мысли с простотою и легкостию болтовни. Нигде, мне кажется, душевная бодрость и энергия Достоевского не выражается так ясно, как в "Дневнике".

При этих общих достоинствах, читатели были еще поражаемы и увлекаемы особым направлением издания. Это направление резко противоречило ходячим вкусам и мнениям петербургской публики, было очевидным протестом против господствующих умственных течений. Можно себе представить, как такое издание должно было обрадовать всех тех, кто негодовал на господствующее направление и нигде не находил в литературе выражения своего протеста и своих любимых мыслей. Таких людей много у нас, и они принадлежат к тем, которые очень редко расположены сами пускаться в литературу.

Успех "Дневника" был чрезвычайный. Приведем цифры, которые всего яснее укажут этот успех:

"Дневник писателя" на 1876 год имел 1982 подписчика, и кроме того в розничной продаже каждый номер расходился в 2000—2500 экземплярах. Некоторые номера потребовали 2-го и даже 3-го издания, например, январский.

В 1877 году было около 3000 подписчиков и столько же расходилось в розничной продаже.

Один номер, выпущенный в 1880 году (август) и содержащий в себе речь о Пушкине, был напечатан в 4000 экземплярах и разошелся в несколько дней. Было сделано новое издание в 2000 экз. и разошлось без остатка.

"Дневник" на 1881 год печатался в 8000 экземплярах и имел в январе, прежде выхода первого номера, 1074 подписчика. Все 8000 были распроданы в дни выноса и погребения. Сделано было второе издание в 6000 экземплярах и разошлось без остатка.

* * *

За три года, когда был веден "Дневник", за 1873 год (в "Гражданине") и за 1876 и 1877 годы (в особом издании), Достоевский, можно сказать, сам написал свою биографию, указал и объяснил то, чем он был занят, что думал и чувствовал в каждый из двенадцати месяцев этих трех годов. Тут выразилось главное содержание его жизни. Что же касается до внешних обстоятельств и до событий чисто личной жизни, то мы постараемся дать здесь канву или рамку, которая, вероятно, еще долго может наполняться воспоминаниями знавших его людей или вновь найденными письмами, записками и другими подобными материалами.

Все зимы, кроме одной (1874—75 гг.), были проведены в Петербурге. Первую зиму (1871—72 гг.) Федор Михайлович квартировал в Серпуховской улице Семеновского полка, в доме госпожи Архангельской. В 1872 году переехал во 2-ю роту Измайловского полка, в дом Мебеса. Зиму 1873—74 гг. жил на Лиговке, № 27, в доме Сливчанского (том самом, где делается это издание его сочинений). Три года, с сентября 1875 по май 1878 года, жил в доме Струбинского, против Греческой церкви, и три последние года, 1878—1881, в Кузнечном переулке, дом № 5, там, где умер.

Первое лето по возвращении из-за границы, лето 1872 года, Достоевские проводили в Старой Руссе, и с тех пор не только стали проводить там каждое лето, но в 1874 — 75 годах прожили там и всю зиму. Это была та зима, в которую Федор Михайлович писал "Подростка". Когда дела поправились, Достоевские нашли удобным даже купить себе в Старой Руссе дом, куда регулярно и переезжали вместо дачи. Исключение составляет лето 1877 года, проведенное в Курской губернии, в имении Ивана Григорьевича Сниткина, брата Анны Григорьевны (Суджанского уезда, деревня Малый Прикол). Дом в Старой Руссе был куплен в 1876 году, весной. При нем есть старый большой сад и заплачено за все 1150 рублей.

Оставляя в стороне переезды с квартиры на квартиру, — дело общераспространенное в Петербурге, мы видим, таким образом, что жизнь Федора Михайловича принимала под конец полную правильность и определенность, из скитальческой превратилась в совершенно оседлую.

Был еще у Федора Михайловича ряд отлучек из дома, регулярно повторявшихся, Это — его поездки в Эмс для лечения, ради которого он должен был покинуть семью и навещать немилую ему Европу. Таких поездок было пять, в 1874, 1875, 1876, 1878 и 1879 годах. Вместе с проездом на это требовалось не менее семи недель и не более двух месяцев. Обыкновенно Федор Михайлович уезжал в начале июля и возвращался к концу августа. Сверх того, в 1879 году, в июне месяце была сделана вместе с Вл. С. Соловьевым поездка в Оптину Пустынь, где они оставались почти неделю. Отражение этой поездки читатели найдут в описании монастыря в "Братьях Карамазовых".

ХІХ. ИЗДАНИЯ. ДОХОДЫ

Весь этот порядок, правильный уход за своим здоровьем и свобода в выборе места и времени стали возможны только потому, что поправились дела. А поправились они всего больше потому, что Анна Григорьевна взяла на себя делать новые издания прежних сочинений Федора Михайловича. Эти издания, делаемые на собственный счет и потому доставлявшие наибольшую выгоду самому автору, начались с 1873 года и шли в следующем порядке.

В 1873 году 24-го января вышли "Бесы" в 3500 экземплярах.

В 1874 году, 24-го января "Идиот" в 2000 экземплярах, а 21-го декабря 1875 года "Записки из Мертвого дома" в 2000 экземплярах.

В 1876 году 18-го декабря "Преступление и наказание" в 2000 экземплярах.

В 1879 году 10-го ноября "Униженные и оскорбленные" в 2400 экземплярах.

В конце 1880 года "Братья Карамазовы" в 4000 экземплярах.

Федор Михайлович необыкновенно радовался поправлению своих денежных дел. Он истинно гордился не только успехом своих сочинений, но и тем, что они дают ему хороший доход, позволили ему расплатиться с долгами и принесли ему достаток. Вспоминая о тех трудах, в которых он прожил свою жизнь, он иногда горько жаловался на свою судьбу и особенно мучился мыслью, что, если скоро умрет (а плохое здоровье часто наводило на эти мысли), то оставит семью в бедности. Поэтому всякий успех в денежных делах был ему истинною отрадою, давал ему надежду на лучшую судьбу дорогих ему существ, утешал и оправдывал его в собственных его глазах. В одной из его записных книг сохранился листок, на котором он тщательно подводил итог чистого дохода, выручавшегося со всех его изданий. Во эта записка:

"В 1877 году

"Преступление и наказание" продано на.....487 р. 12 к. Переплетенных экземпляров "Дневника" 1876 г.....497 " 80 " "Бесы", "Идиот", "Записки из Мертвого дома".....561 " 63 " От 1876 года.....+ (295) " 40"Итого.... 1841 р. 95 к.

В 1878 году

"Бесы", "Идиот" и "Записки из Мертвого дома".....1199 " 50 " "Преступление и наказание".....548 " 98 " Переплетенных экземпляров 1877 года.....346 " 50 " Переплетенных экземпляров 1876 года.....281 " 68 "Итого.... 2376 р. 66 к.

В 1879 году

"Бесы", "Идиот" и "Записки из Мертвого дома".....1271 " 99 " "Преступление и наказание".....797 " 16" Переплетенных "Дневника" 1877 года.....121 " 2" Переплетенных "Дневника" 1876 года.....98 " 61 " + "Униженные и оскорбленные"....227 " 24 "Итого.... 2516 р. 2 к.

В 1880 году

"Бесы", "Идиот" и "Записки из Мертвого дома".....1287 "20 " "Преступление и наказание"..... 933 " 99 " "Дневник" 1877 года.....219 " 14 " "Дневник" 1876 года.....247 " 6"Итого.... 2687 р. 39 к.

+ "Униженные и оскорбленные"....548 " 51" + "Дневник" 1880 года.....893 " 87 "Итого....4129 р. 77 к.

"Братья Карамазовы".....3681 " 50 "

.....7811 р. 27 к."

Прибавим к этому для полного понятия о делах Федора Михайловича те суммы, какие получались за новые романы, печатавшиеся в журналах. За "Подростка", печатавшегося в "Отечественных записках", получалось по 250 р. с печатного листа; за "Братьев Карамазовых" по 300 р.

В 1878 году Федор Михайлович в последний раз обращался с просьбой о деньгах к редакции "Русского вестника", так долго и радушно поддерживавшей своего сотрудника и большими и малыми ссудами. После 1878 года уже никаких займов не делалось и началось соби́рание небольшого капитала.

XX. ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК (1880)

Как свидетель торжества, которое выпало на долю Федора Михайловича на Пушкинском празднике, той "пальмы первенства", которую он получил на этом мирном состязании, постараюсь рассказать это событие со всеми подробностями, какие успел заметить. Я не принимал никакого деятельного участия в этом чествовании памяти Пушкина, был лишь простым зрителем, но оно глубоко меня интересовало; поэтому для меня была яснее, чем для многих других, та внутренняя драма, которая разыгралась на этом празднике и в которой главная роль оказалась принадлежащею Федору Михайловичу.

Приготовиться к празднику было довольно времени. Открытие памятника назначено было на 26 мая, день рождения Пушкина; но за несколько дней до этого числа скончалась государыня и торжество было отложено на две недели глубокого траура. Между тем многие участники уже собрались в Москве и ожидали тут, когда дано будет разрешение. В числе их был и Федор Михайлович, приехавший из Старой Руссы, где проводил лето со своею семьею. Он явился на праздник в официальном звании депутата от Славянского благотворительного общества. Другим депутатом был И. Ф. Золотарев. Я приехал накануне самого открытия и только потом узнал, что во время этого ожидания в Москве

почитатели Федора Михайловича давали ему обед, но не имел никакого понятия о том, что там говорилось и делалось. (25)

Собираясь на праздник, откровенно признаюсь, я не ожидал ничего особенно хорошего. Мне живо представлялось, что должен произойти большой шум и восторг, то явление, которое Федор Михайлович так хорошо называл — "увизжаться от восторга". Но легко могло случиться, что из этого воодушевления ничего не выйдет. Мы чрезвычайно легко приходим в энтузиазм, и нельзя не любить всею душою этой благородной способности, в основе которой, может быть, у нас лежат очень высокие задатки. Но этот энтузиазм, иногда вспыхивающий таким чистым пламенем, обыкновенно гаснет без следа; в большинстве случаев это энтузиазм бесплодный, сам собою питающийся и удовлетворяющийся, не порождающий ни твердых и определенных убеждений, ни усердной и определенной деятельности. Я предполагал, что, может быть, мне предстоит и теперь видеть подобное зрелище. Но на этот раз, к счастью, я обманулся; речь Федора Михайловича дала празднику некоторое существенное содержание и осталась после него как твердое и блестящее украшение, не улетевшее вместе с дымом и пламенем этого фейерверка.

6-го июня все мы с 10 часов утра собрались в Страстной монастырь слушать обедню и панихиду. Церковь наполнилась литераторами и вообще отборною интеллигенциею, которая сдержанно разговаривала под звуки сладкого пения. Служил митрополит Макарий; в конце службы он говорил проповедь на ту простую тему, что нужно благодарить Бога, пославшего нам Пушкина, и нужно молиться Богу, чтобы он даровал нам для всяких других поприщ подобных сильных деятелей. Проповедь показалась мне несколько холодною, и не было заметно, чтобы она произвела особенное впечатление. Первая минута восторга наступила, как мне кажется, когда мы вышли на площадь, когда был сдернут холст со статуи и мы, при звуках музыки, пошли класть свои венки к подножию памятника. Церемония у памятника имела совершенно светский характер и состояла из этого положения венков и из чтения бумаги, которою комиссия, соорудившая памятник, передавала его в собственность городу Москве. Бумагу читал с высокой эстрады Ф. П. Корнилов. Почему-то нельзя было совершить окропления памятника святою водою, как это принято при всяких сооружениях.

Начиная с этой короткой церемонии, всеми овладело радостное, праздничное настроение, не прерывавшееся целых три дня и не нарушенное никаким печальным или досадным случаем. Того, что называется скандалом, легко можно было ожидать; во-первых, легко могла обнаружиться вражда, которой всегда немало бывает между литераторами; во-вторых, кто-нибудь мог соблазниться случаем и сказать резкое словцо против дел и лиц, стоящих вне литературы. Литературные несогласия, правда, успели-таки сказаться и на этом празднике. В самой Москве обнаружилось у некоторых лиц враждебное настроение к "Московским ведомостям" и заявило себя настолько, что редакция этой газеты положила не присутствовать на празднике. Участие ее поэтому ограничилось только речью М. Н. Каткова на обеде, данном думою, — речью, после которой, как рассказывают, один из присутствовавших тоже сделал молчаливую попытку заявить свою вражду к говорившему. Следствием таких отношений было, что, в то время как петербургские газеты печатали множество телеграмм и писем обо всем, что происходило на празднике, "Московские ведомости" не только не описывали его и не рассуждали об нем, но даже вовсе не помещали никаких об нем известий.

Кроме этого прискорбного факта, некоторые другие разногласия заявили себя разве тем, что на общее торжество литературы не явились иные писатели; затем все остальное прошло совершенно благополучно. Могу свидетельствовать, что в продолжение трех

дней, когда я слушал с утра до вечера, не было сказано ни одного слова, действительно враждебного; напротив, были примеры дружелюбных отношений, завязавшихся между враждовавшими. Вот одно из чудес, которые совершило воспоминание о Пушкине. Общее впечатление праздника было чрезвычайно увлекающее и радостное. Многие говорили мне, что были минуты, когда они едва удерживали или даже не успевали удержать слезы. Эта радость все росла и росла, не возмущаемая ни единым печальным или досадным обстоятельством, и только на третий день достигла наибольшего напряжения, совершенного восторга.

"Ну, что-то будет сказано об Пушкине?" — думал я, когда ехал на праздник; и праздник сам собою все больше и больше направлялся на этот вопрос, все сильнее устремлялся к единой мысли — воздать нашему великому поэту самую высокую и самую справедливую похвалу. Это была цель мирного состязания, и соперники, наконец, действительно всё забыли, кроме этой цели. Участниками были люди самых различных направлений и кружков; тут были не только ученые и писатели, но и депутаты от всякого рода наших государственных и частных учреждений; прислан был депутат от французского министерства просвещения; тут читались телеграммы и письма от иностранных учреждений и писателей; особенно важны были телеграммы и приветствия от чехов, поляков и от других славянских земель, приветствия, искренность и теплота которых была невольно замечена. Но все это была только обстановка; главная роль, существенное значение, очевидно, принадлежали нашим ученым и литераторам; им предстояла трудная и важная задача — растолковать дух и величие Пушкина.

Первый день состоял из торжественного заседания в университете и из обеда, который Московская дума давала депутатам. От памятника все отправились в университет. Здесь академики и профессора читали свои статьи; в этих статьях были интересные факты, точные подробности и верные замечания, но вопрос о Пушкине не был поднимался во всем своем объеме. Самую оживленную минутой заседания, конечно, была та, когда ректор провозгласил, что Тургенев избран почетным членом университета. Тут раздались потрясающие, восторженные рукоплескания, в которых всего больше усердствовали студенты. Сейчас же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тем пунктом, на который можно устремлять и изливать весь накопляющийся энтузиазм. Каждый раз, когда и потом в течение праздника произносилось это знаменитое имя или упоминалось об его произведениях, толпа откликалась рукоплесканиями. Тургенева вообще чествовали, как бы признавая его главным представителем нашей литературы, даже как бы прямым и достойным наследником Пушкина. И так как Тургенев был на празднике самым видным представителем западничества, то можно было думать, что этому литературному направлению достанется главная роль и победа в предстоявшем умственном турнире. Известно было, что Тургенев приготовил речь и, как рассказывали, нарочно ездил в свое поместье, чтобы на свободе обдумать и написать ее.

За университетским заседанием следовал думский обед в залах Дворянского собрания, тех залах, которые с этой минуты и до конца были местом праздника, так как в них происходили и публичные заседания Общества любителей русской словесности (утром 7 и 8 июня), и литературно-драматические вечера. Никакого уличного торжества нельзя было устроить вследствие траура по императрице, и потому среди будничной Москвы празднование шло только в этих залах, где три дня с утра до вечера толпился народ и раздавались взрывы рукоплесканий. Думский обед был по всему истинно великолепен; а особенно приятно вспомнить, что сам Н. Г. Рубинштейн дирижировал оркестром, так что увертюра из "Руслана" была исполнена вполне художественно (дело редкое). За обедом были произнесены небольшие речи преосвященным Амвросием, М. Н. Катковым, И. С. Аксаковым и читал свои стихи А. Н. Майков. Все было к месту и содержало прекрасные

мысли, но еще не захватывало всего предмета, то есть значения Пушкина. Больше всего мое внимание было поражено речью Аксакова. Как представитель славянофильства он сделал, как мне казалось, важный шаг, признав, в коротких, но ясных и торжественных словах, за Пушкиным значение "первого истинно русского, истинно великого народного поэта". Мне припомнились знаки некоторой холодности, обнаруженной к Пушкину прежними славянофилами; известно, что они истинно народного поэта готовы были видеть лишь в Гоголе, с такою резкостью показавшем полную оригинальность в творчестве. Теперь же, как то и указывал сам Аксаков, этим торжеством, принявшим неожиданно огромные размеры, "всевластно объявилось действительное, доселе, может быть, многим сокрытое значение Пушкина для русской земли". Эти мысли очень занимали меня, и я чувствовал большое любопытство к речи, которую Аксаков должен был говорить на другой день. Не могу однако же сказать, чтобы краткое заявление Аксакова многих поразило. После обеда толки шли больше об выходке против Каткова, о речи преосвященного Амвросия и т. д. Эту речь понемногу так переиначили, что, наконец, кто-то рассказывал, будто преосвященный назвал Тургенева первым нигилистом.

Прошу читателя извинить мне эти подробности. Едва ли удастся мне, но очень хотелось бы изобразить то необыкновенное возбуждение, которое овладело всеми деятельными участниками торжества. Они волновались и напрягались, как борцы, которым предстоит победа или поражение. Рукоплескания публики, смотревшей на них с уважением и постоянно готовой к восторгу, поддерживали их оживление и силы. Мне встретились две дамы, приехавшие из Петербурга, большие поклонницы просвещения и литературы; они горько жаловались, что просто не узнают знакомых им литераторов: так они стали надменны и заняты лишь собою, своим участием в празднике.

Настоящее состязание и действительная литературная оценка Пушкина должна была начаться 7 июня, в первом публичном заседании нашего "Общества". В этот день, среди других речей, должен был читать свою речь Тургенев, а потом Аксаков, то есть оба представителя противоположных направлений. Но так как заседание затянулось за множеством речей, стихов, вызовов и т. д., то успел читать один Тургенев. Его речь, разумеется, была встречена и провожена громкими, восторженными рукоплесканиями. Но между литераторами поднялись оживленные толки о мыслях, высказанных в этой речи, и обнаружилось даже прямое желание как-нибудь возразить на нее и дополнить ее. Иначе и не могло быть в "Обществе", заключающем в себе так много славянофильствующих писателей. Главный пункт, на котором остановилось общее внимание, состоял в определении той ступени, на которую Тургенев ставил Пушкина. Он признавал его вполне народным, то есть самостоятельным поэтом. Но он ставил еще другой вопрос: есть ли Пушкин поэт национальный? Национальным, по мнению оратора, может быть назван только поэт великий и всемирный; потому что, если поэт вполне выражает дух своей нации, то он тем самым есть великий поэт, а потому вместе и всемирный поэт, вносящий свой вклад в сокровищницу человечества. Так поставил оратор вопрос, но поставил только затем, чтобы отказаться отвечать на него. "Я не утверждаю, — сказал он, — такого значения Пушкина, но и не осмеливаюсь отрицать его". Эти слова возбудили большие толки; некоторые из сочленов собирались даже обратиться к Тургеневу с вопросом о причинах его нерешительности; потому что в своей речи он ничего не сказал ни о том, почему не решается утверждать, ни о том, почему не осмеливается отрицать национальное значение Пушкина. Много говорили также о тех рассуждениях Тургенева, в которых он старался показать историческую необходимость порицаний и глумлений над Пушкиным, долго происходивших в нашей литературе и едва недавно затихших. Оратор упоминал также, что муза мести и печали имела свои права на внимание и, естественно, отвлекла умы от великого поэта.

Все это и другое подобное было иным не совсем по душе. В группе деятельных участников торжества пронеслось чувство некоторой неудовлетворенности, неясной досады. Одни критически разбирали слова Тургенева; другие, которым самим приходилось читать на следующий день, надеялись выразить мысли, ниспровергающие тургеньевские взгляды; кто-то успел написать даже насмешливые стихи — конечно, не для публичного чтения. Но то, что случилось на другой день, превзошло все ожидания и расчеты. По порядку следовало бы читать сперва Аксакову и потом Достоевскому; но, не знаю по какой причине, решено было, что Достоевский будет читать в первую половину заседания, а Аксаков во вторую (эти половины разделялись маленьким антрактом); эта перемена порядка оказалась важнее, чем сперва думали сами ораторы. Как только начал говорить Федор Михайлович, зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал по писанному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине. То одушевление и естественность, которыми отличается слог Федора Михайловича, вполне передавались и его мастерским чтением. Не говорю ничего о содержании речи, но, разумеется, оно давало главную силу этому чтению. До сих пор слышу, как над огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голос: "Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!"

Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем. Толпа, давно зарядившаяся энтузиазмом и изливавшая его на все, что казалось для того удобным, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стих, эта толпа вдруг увидела человека, который сам был весь полон энтузиазма" вдруг услышала слово, уже несомненно достойное восторга, и она захлебнулась от волнения, она ринулась всею душою в восхищение и трепет. Мы тут же все принялись целовать Федора Михайловича; несколько человек, вопреки правилам, стали пробираться из зала на эстраду; какой-то юноша, как говорят, когда добрался до Федора Михайловича, упал в обморок.

Восторг толпы заразителен. И на эстраде и в "комнате для артистов", куда мы ушли с эстрады в перерыв заседания, все были в радостном волнении и предавались похвалам и восклицаниям. "Вы сказали речь, — обратился Аксаков к Достоевскому, — после которой И. С. Тургенев, представитель западников, и я, которого считают представителем славянофилов, одинаково должны выразить вам величайшее сочувствие и благодарность". Не помню других подобных заявлений; но живо осталось в моей памяти, как П. В. Анненков, подошедши ко мне, с одушевлением сказал: "Вот что значит гениальная художественная характеристика! Она разом порешила дело!"

Кстати, замечу здесь один маленький случай, очень характерный. В первой половине своей речи, говоря о пушкинской Татьяне, Федор Михайлович сказал: "Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в "Дворянском гнезде" Тургенева..." При имени Тургенева зала, как всегда, загрохотала от рукоплесканий и заглушила голос Федора Михайловича. Мы слышали, как он продолжал: "...и Наташи в "Войне и мире" Толстого". Но никто в зале не мог этого слышать, и он должен был остановиться, чтоб переждать, пока утихнет вновь и вновь подымавшийся шум. Когда он стал продолжать речь, он не повторил этих заглушенных слов и потом выпустил их в печати, так как они действительно не были произнесены во всеуслышание. Такова была горячка этого заседания и так горячо шла внутренняя борьба в публике и в представителях литературы.

Приходилось затем еще говорить перед публикой И. С. Аксакову. Его речью должна была открыться вторая половина заседания. Он вышел и, как давнишний любимец Москвы, был встречен жаркими и долгими рукоплесканиями. Но вместо того чтобы начать речь, он вдруг объявил с кафедры, что не будет говорить. "Я не могу говорить, — сказал он, — после речи Федора Михайловича Достоевского; все, что я написал, есть только слабая вариация на некоторые темы этой гениальной речи". Слова эти вызвали гром рукоплесканий. "Я считаю, — продолжал Аксаков, — речь Федора Михайловича Достоевского событием в нашей литературе. Вчера еще можно было толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин или нет; сегодня этот вопрос упразднен; истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать!" И Аксаков сошел с кафедры. Восторг опять овладел залом, восторг, относившийся и к благородной горячности Аксакова, и еще более к той речи, которую была она вызвана и которую публика слышала час тому назад. Аксаков высказал приговор, составившийся в массе читавших и слушавших, объявил, что словесный турнир кончился и что первый венок принадлежит Достоевскому, что его состязатели явно превзойдены.

Когда шум затих, Аксакова стали, однако, просить и понуждать прочесть свою речь. Он уступил и прочел большую часть того, что написал. Прекрасное чтение часто вызывало рукоплескания. Например, когда, прочитав стихи:

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновения
Для звуков сладких и молитв... —

Аксаков воскликнул: "какой же пользы еще нужно? Да ведь такие стихи — благодаяние!"

Речь его, по содержанию, конечно, не повторяла речи Достоевского, но вполне согласовалась с нею, содержала даже канву некоторых ее мыслей.

В конце заседания на эстраде вдруг появилась группа дам; они принесли огромный венок Достоевскому. Его упростили взойти на кафедру, сзади его, как рамку для головы, держали венок, и долго не смолкали рукоплескания всей залы.

Таким образом, Достоевский был чествуем как герой этого дня. Все чувствовали себя довольнее, все, очевидно, были благодарны ему за то, что он разрешил, наконец, томительные ожидания, дал всему празднику содержание и цвет. Поэтому публика уже не упускала его из виду и осыпала его наиболее громкими знаками одобрения. День этот, последний день торжества, кончился литературно-музыкальным вечером, на котором и Достоевский читал некоторые стихотворения Пушкина. Всего значительнее было чтение стихотворения "Пророк". Достоевский дважды читал его, и каждый раз с такой напряженной восторженностью, что жутко было слушать. Зная его, я не мог без невольной жалости и умиления видеть его истощенное маленькое тело, охваченное этим напряжением. Правая рука, судорожно вытянутая вниз, очевидно удерживалась от напрашивающегося жеста; голос был усиливается до крика. Чтение выходило слишком резким, хотя произношение стихов было прекрасное. В этом отношении я вполне разделял вкус Федора Михайловича, любившего напирать на музыкальность, на ритм стихов, — разумеется, без нарушения естественности. При конце жизни он достиг в таком чтении удивительного мастерства и любил читать и перед публикою и в частных кружках.

Этот второй и последний вечер заключился, как и первый, увенчанием бюста Пушкина на сцене, на которую выходили для этого все исполнители. В первый вечер венок был возложен Тургеневым, в последний — Достоевским, которого при всех пригласил к тому сам же Тургенев.

Так кончилось это торжество. Замолкли последние восторженные рукоплескания, и мы разошлись, утомленные и довольные. Впечатление было для меня не только сильное, но и совершенно ясное. Мне живо вспомнилось все литературное движение, в котором когда-то я так близко участвовал. Прежде всего вспомнилось то постоянное поклонение Пушкину, которое исповедовал Достоевский. Он еще в "Бедных людях" указал на Пушкина как на образец и руководство (в суждениях о "Станционном смотрителе") и потом всю жизнь питал и заявлял безграничный восторг к главному герою нашей литературы. Победа, думал я, досталась Федору Михайловичу по всей справедливости, потому что во всей этой толпе он, конечно, больше всех любил Пушкина.

Потом мне вспомнился весь наш литературный кружок, "Русское слово" (1859), "Время", "Эпоха", "Заря", "Гражданин"... Это были полосы и кучки людей, всегда придававших литературному искусству высокое значение и потому видевших в Пушкине свое главное светило. Никто лучше Аполлона Григорьева не писал о Пушкине, и никакие другие кружки не были больше преданы литературе. К этим кружкам примыкал Федор Михайлович, в иных из них был руководителем и когда-то дал этому направлению особое название почвенников... Вот какое направление, думалось мне, одержало верх на Пушкинском празднике. Если тут Федор Михайлович победил западников и превзошел славянофилов, то, конечно, только в силу того широкого взгляда, который избегает некоторых крайностей тех и других, который, хотя отвергает безусловное преклонение перед Западом, но не столько чуждается его духовной жизни, как исключительное славянофильство, и видит и в современной нашей умственной жизни больше здорового содержания, чем успевали находить славянофилы. Итак, то, что случилось, было естественно и неизбежно. На Пушкинском торжестве должна была одержать верх та партия, которая во все продолжение последних тридцати лет питала и исповедовала поклонение Пушкину, и Достоевский, самый важный и деятельный представитель этой партии, должен был получить венок первенства как то, что ему принадлежало по всем правам и заслугам.

И, наконец, живо представилось мне, как в этом случае выступили и засияли перед всеми личные свойства ума и сердца Федора Михайловича, его широкая способность всему симпатизировать, его умение примирять в себе, по-видимому, несогласимые настроения, его стремление ничего не отвергать, ничего не исключать безусловно и оставаться верным в любви к тому, что раз он полюбил.

Он представляет нам великий пример в двух отношениях: он образец истинного консерватора и образец того, как следует нам держать себя в отношении к тому, с чем мы враждуем, что считаем ложным и гибельным. По направлению, по духу он самый широкий из современных писателей, и потому естественна его любовь к самому широкому из наших гениев, к Пушкину.

Консерватизм, патриотизм часто понимаются, как нечто узкое, тупое, глупое. Так оно, конечно, нередко и бывает, потому что это душевное настроение свойственно огромным массам людей, а умы людские вообще слабы и ограничены. Но это не относится к существу дела, точно так, как, например, глупые ученые или глупые книги, встречающиеся так часто, не составляют возражения против учености и книг вообще. По сущности же, что может быть естественнее и правильнее, чем любовь к тому, что нас

окружает, и желание сохранить то, что мы любим? Мы и любить учимся на людях близких к нам, и понимать на том умственном содержании, которое сообщается нам сначала. Сердце чуткое, ум чуткий постепенно открывает и усваивает положительную сторону окружающей жизни, то добро, тот свет ума, ту красоту, которые составляют главный нерв всякого человеческого существования, без которых это существование невозможно. А раз что-нибудь полюбивши, раз что-нибудь понявши, глубокая натура уже не забывает этого потом, уже не может этого выкинуть из себя, как ненужный сор. Таким образом процесс самый простой и обыкновенный может достигать в одаренных людях самого высокого значения. Люди, мало способные к консерватизму, легко и без следа отвергающие те чувства и мысли, которые некогда в них жили, очевидно, свидетельствуют этим о малой своей чуткости, о слабости своей сердечной памяти. Они обыкновенно увлекаются своею энергиею, и в ней заключается их оправдание; но зло непонимания, презрения, насилия неизбежно примешивается к их деятельности и часто искажает дела, совершаемые во имя благороднейших целей.

Достоевский был консерватором по натуре. В нем сильно, но быстро совершился тот процесс, которым почти неизменно характеризуется развитие всех значительных русских писателей: сперва они увлекаются отвлеченными мыслями, идеалами, заимствованными с Запада, потом возникает внутренняя борьба и разочарование и, наконец, пробуждаются — лишь на время подавленные чувства, любовь к родной святыне, к тому, чем жива и крепка русская земля. У каждого бывает минута возрождения, когда он говорит вместе с Пушкиным:

Так исчезают заблужденья
 С измученной души моей,
 И возникают в ней виденья
 Первоначальных чистых дней.

Но, отказавшись от искания на Западе высших руководительных начал, Достоевский сохранил любовь и уважение к духовной жизни Европы. Да и у нас, среди разлива того крайнего западничества, которое называется нигилизмом, он умел видеть корень и этих извращенных стремлений, умел понимать и жалеть и эти заблудшие души. Этот взгляд, находящий возможность выхода и примирения, эта тонкая и широкая симпатия, обнимающая оба полюса нашей умственной жизни и ищущая соединения их в некотором высшем начале и деле, — есть прекрасная и характерная черта Достоевского. Его вражда, такая горячая и волнующаяся, никогда не была безусловным отвержением. Покаявшийся нигилист, вот тема, которую он любил, на которую написано "Преступление и наказание" и которая отзывается во всех последующих его произведениях. Понятно, почему он имел такую привлекательность для молодых людей, почему на многих из них он успевал производить самое благотворное действие. Та же самая черта примиряющей симпатии обнаружилась и на Пушкинском празднике. Он нашел формулу, которая объединяла стремления западников и славянофилов, направляя их к общей высшей цели; естественно, что восторг овладел в эту минуту давнишними противниками, и они искренно подали друг другу руки.

XXI. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. — ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТЬ. — ГЕРОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

После торжества на Пушкинском празднике, конечно, бывшего одною из лучших минут жизни Федора Михайловича, самым блестящим из тех литературных успехов, которыми он так дорожил, ему уже немного оставалось жить на свете. Между тем он находился в полном развитии сил и в самом разгаре своей деятельности. Во вторую половину 1880

года он кончил "Братьев Карамазовых" и составил "Дневник писателя, единственный выпуск за 1880 год. Август". В этом выпуске он поместил свою речь о Пушкине, обставил ее разными пояснениями и отвечал на поднявшиеся против нее возражения. В то время, когда в "Русском вестнике" еще не было кончено печатание "Карамазовых", было уже объявлено, что на следующий 1881 год будет выходить "Дневник". Январский номер уже печатался и был почти готов к выходу, когда, ни для кого неожиданно, явилась смерть и прекратила эту кипучую деятельность.

Эта смерть, наступившая так быстро, имела характер довольно ясный для тех, кто знал Федора Михайловича в последнее его время. Он был необыкновенно худ и истощен, легко утомлялся, он страдал от своей эмфиземы. Он жил, очевидно, одними нервами, и все остальное его тело дошло до такой степени хрупкости, при которой его мог разрушить первый, даже небольшой толчок. Всего поразительнее была при этом неутомимость его умственной работы. Он был чрезвычайно занят. Он писал 25 или 30 печатных листов в год, а работа, как он сам мне говорил, стала ему труднее. "Теперь мне нужно вдвое, втрое больше времени, чтобы написать столько же, как прежде". Жизнь, спокойная и правильная с внешней стороны, без переездов и помех, давала ему больше времени, но тем усерднее он отдавал это время своему призванию. Потом, в последние годы, особенно с начала "Дневника писателя", он был завален перепиской и замучен посетителями. К нему писали и шли люди совершенно незнакомые, со всех концов Петербурга и краев России. Приходили с просьбами о помощи, так как он усердно помогал бедным и принимал участие в чужих затруднениях и несчастиях; но также беспрерывно приходили с выражением своего поклонения, с вопросами, с жалобами на других и с возражениями против него. Такого же рода были и письма. Нужно было разговаривать, расспрашивать, отписываться, объяснять. Популярность его радовала; много он встретил заявлений, которые показывали, что слова его не пропали даром; много узнал людей, принесших ему отраду своими душевными качествами. Эти сношения он считал прямым долгом поддерживать и направлять в хорошую сторону. Особенно он был внимателен к молодым людям, к студентам, к курсисткам.

Затем — сыпались приглашения на заседания всяких обществ, на обеды по разным случаям, на литературные чтения с благотворительной целью. Нужно было сговариваться о времени, выбирать, что прочесть, готовиться и читать. Но нельзя было вовсе забросить и знакомых и хоть изредка да не побывать у них в заведенные среды или субботы. И все это помимо домашних, и семейных, и родственных дел и забот, тоже бравших время и силы. А когда же было думать и читать? То есть, когда было совершать дело, требующее очень много времени и не поддающееся никакому сокращению? Понятно, что он жил в постоянном напряжении, что внутри его кипела непрерывная работа, о которой не имеют понятия люди, не занимавшиеся писательством. Писателю нельзя, как профессору, из году в год повторять одно и то же; а писателю творческому приходится напрягать все силы своей души, отдаваться вдохновению до высшего полета, к какому оно способно. Вот почему писатель, погружающийся в свою работу, часто бывает совершенно другим человеком, чем в то время, когда не занимается писанием. Напряжение отзывается во всем, и в подъеме самозабвения, и в повышенной чуткости ко всем впечатлениям. "Нельзя писать хорошие вещи, — говорил мне один первостепенный и знаменитый своею искренностью писатель, — не будучи убежденным в это время, что делаешь самое важное дело, какое есть на свете". Такова причина того глубокого обращения внутрь себя, той щекотливости и даже раздражительности, которые были заметны в Федоре Михайловиче, особенно в последние годы. В эти годы он почти уже не приходил в расположение духа, свойственное людям, спокойно и просто идущим по житейской дороге. Внутреннее напряжение почти не оставляло его. Это одно из тех бедствий, которыми сопровождается

литературная карьера, бедствие иногда очень тяжелое и составляющее теневую сторону радостей творчества.

Мне хотелось объяснить здесь нормальную сторону той чрезвычайной впечатлительности, которую обнаруживал Федор Михайлович. Но ведь он сверх того был человек больной; припадки "священной болезни", так часто совмещающейся с высокими нервными организациями, отнимали у него память, приводили его в мрачное настроение и удвоивали его мнительность и щекотливость. Здесь было бы у места привести анекдоты о его забывчивости, неожиданных вспышках и резкостях, те анекдоты, из которых иные, конечно, сохранились в памяти множества людей, приходивших в соприкосновение с замечательным человеком. Не останавливаясь на этих случаях, замечу только, что соль подобных анекдотов состоит не только в противоречии между теми признаками раздражения, которые иногда обнаруживал Федор Михайлович, и тем большим и всеобщим уважением, которое его окружало в последнее время, но также в уме и меткости, которые пробивались и в этих, вовсе ненужных и странных выходках.

Я сам очень обижался на Федора Михайловича, тем более обижался, чем ближе мы когда-то были. Непобедимая мнительность иногда заставляла его смотреть и на меня, как на человека, имеющего к нему что-то враждебное, недостаточно к нему расположенного, и это очень огорчало меня. "Он несправедлив, — думал я, — он мог бы знать мои чувства и верить в них". Я старался победить в себе раздражение, вероятно, чересчур самолюбивое, делал некоторые приступы к большему сближению и до последнего времени все мечтал, как о большом благополучии, о возможности восстановить вполне наше прежнее взаимное расположение. Охотно признаю себя виновным, что не вполне сумел и успел в этом; с его стороны, я уверен, было такое же желание.

Дело в том, что вся эта внешность, вся сила этих наружных мелочей и слабостей почти вовсе не имели влияния на его поступки, на его образ чувств и действий, всегда сохранявший благородство и высоту. Он был строг к себе и даже щепетилен; его великодушие не могло помириться не только с темным или недобрым поступком, но и с темным или недобрым чувством. Он трудился и жил, постоянно воспитывая в себе наилучшие чувства и действуя не только безукоризненно и бескорыстно, а часто самоотверженно.

Но тяжесть его положения и той деятельности, которой он предавался всеми силами, была так велика, что он невольно сгибался под нею. Он умер в самый разгар своей деятельности, как будто эта тяжесть вдруг и неожиданно сломила его, когда он стоял на своем посту, когда боролся и напрягался, как того требовало его призвание. И нельзя отказать ему в нашем умилении и удивлении, если мы вспомним, сколько этот человек вынес труда и горя и сколько он сделал.

С низменной, пошлой точки зрения на Достоевского можно смотреть, как на заурядного литератора. Иные, пожалуй, скажут так: "Он шел самым обыкновенным путем, торною дорогою этого поприща. Еще в школе он почувствовал страсть писать, — очень обыкновенное явление в пору самолюбивой молодости. По выходе из школы он бросает профессию, к которой готовился, не продолжает своего образования, а весь отдается литературе. Он скоро увлекается противуправительственными мнениями и подвергается ссылке в каторгу. По возвращении он получает, в силу этого, особенный вес в либеральной публике и пользуется этим. Он пишет как можно больше и эффектнее, берется за различные литературные предприятия, обыкновенно неудачные, но усиленно и постоянно хлопочет об успехе. Он очень высокого мнения о себе, беспорядочен в делах, вечно в долгах и нуждается, и вечно погружен в литературные дразги. Критики, газетные

полна была его голова, и все не успевал вполне высказаться, все оставался недоволен тем, что писал. Итак, не из подражания или расчета он писал, а, напротив, он был от начала твердо уверен, что другие должны ему подражать и что драгоценности, которые он предлагает читателям, несравненно выше всяких денег, всякой цены. Успех его был, однако же, медленный и очень трудный, отчасти потому, что талант его хотя и значительно обнаружился с первого же раза, но продолжал медленно зреть до полной силы, отчасти потому, что он не умел вести своих дел, а между тем брался за разные литературные предприятия, воображая, что может соперничать с иными из самых практичных своих собратий по профессии. Но наконец он все-таки достиг своего; после долгой и тяжелой борьбы он достиг огромной известности, достиг распространения в публике своих чувств и мыслей и, наконец, достатка, если не богатства, которого, конечно, стоил, хоть и не желал.

Если, таким образом, взять в целом эту жизнь и эту карьеру, то нельзя не быть пораженным. Ему досталась на долю тяжкая кара со стороны власти, которая не без причины подозрительно смотрит на иные кружки интеллигенции, но на этот раз была чересчур строга, да и потом ошибалась по отношению к нему. Ему досталось на долю разоренье, то есть не только потеря всякого имущества, но еще большие долги и обязанность поддерживать большую семью покойного брата. Ему, наконец, досталось на долю все неустройство литературной жизни, десятки лет неверного, непостоянного заработка, забирая денег вперед, выжиданья, выпрашиванья, нерасчетливых трат и сиденья без копейки. Все он перенес, все победил, не изменяя своей цели, не покидая своего поприща, не теряя ни бодрости, ни пламенного желания высказаться, оставаясь себе верным от "Бедных людей" и до "Братьев Карамазовых". Это не простой литератор, а настоящий герой литературного поприща. В его сочинениях много мыслей, приводящих в умиление; но и сам он, как человек, с таким трудом создавший свою судьбу, бодро вынесший столько тягостей и волнений, достоин умиления.

XXII. ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ (26)

Дней за десять до той кратковременной болезни, которая свела Федора Михайловича в могилу, зашел к нему О. Ф. Миллер напомнить ему о данном им обещании участвовать в Пушкинском вечере 29-го января (в день смерти поэта). Незванный гость, как это и часто случалось с Федором Михайловичем, оказался для него хуже татарина. О. Ф. Миллер не сообразил, что Федор Михайлович как раз дописывал тогда январский номер возобновляемого им "Дневника писателя". Он выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный — отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах "Дневника", — в течение всего года. "Не пропустят этого, — говорил он, — и все пропало" (известно, что, не имея средств для внесения залога, он должен был издавать свой "Дневник" под предварительною цензурою). Строки, так его беспокоившие, надо думать, те, которыми открывается 5-й отдел 1-й главы "Дневника" (под заглавием: "Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться"): "На это есть одно магическое словцо, именно: "Оказать доверие". Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду".

Если в дальнейших номерах "Дневника" Федор Михайлович предполагал развивать эту мысль — подробно говорить о том, что называлось у Посошкова "народосоветием" и что, так сказать, прошло мимо ушей у нашей интеллигенции, то к самому Федору Михайловичу смело могут быть отнесены последние слова его речи о Пушкине: "Жил бы

Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем".

Как ни понятно было то возбужденное состояние, при котором Федор Михайлович не принял тогда для переговоров о литературном вечере Ореста Федоровича Миллера, из письма к последнему Анны Григорьевны, написанного день или два спустя, видно, что Федор Михайлович беспокоился, не обидел ли он неласковым приемом своего знакомого. "Вот и еще, пожалуй, человека потеряю", — говорил он Анне Григорьевне, поручая ей извиниться за себя в письме и сказать, что он непременно будет участвовать в Пушкинском вечере. В воскресенье, 25-го января, рассчитав, что "Дневник" уже должен быть дописан, О. Ф. Миллер отправился к Федору Михайловичу и застал у него А. Н. Майкова и Н. Н. Стрхова. Сдав работу, так его беспокоившую, и обнадеженный стоявшим тогда во главе управления по делам печати господином Абазой, что у цензуры рука не поднимется ни на одну его мысль, Федор Михайлович был в хорошем расположении духа. Но когда речь зашла о чтении, он вдруг настоятельно заявил, что желает прочесть на вечере некоторые любимые им небольшие стихотворения Пушкина. О. Ф. Миллер заметил ему, что он заранее указал на отрывок из "Евгения Онегина", как уже и значится в афише вечера, и что выбор Федором Михайловичем другого предмета для чтения заставит опять хлопотать у попечителя учебного округа и у градоначальника. Федор Михайлович несколько раздражился и сказал, что кроме указываемых им теперь небольших стихотворений он ничего другого читать не будет. О. Ф. Миллер, в свою очередь раздражившись, неосторожно попрекнул Федора Михайловича недостаточным вниманием к его, Миллера, нелегкому положению в качестве устроителя вечера. Тогда Федор Михайлович уже не раздражился, а огорчился. "И не грех вам, — сказал он, — говорить это; сколько раз я по вашей просьбе читал для студентов". Небольшая размолвка окончилась миролюбиво. О. Ф. Миллер дал слово выхлопотать разрешение на замену прежнего отрывка другими стихотворениями, только бы Федор Михайлович участвовал в вечере. Когда он уходил, хозяин, совершенно уже успокоенный, проводил до дверей О. Ф. Миллера, которому так и не пришлось уже более увидеть живым Федора Михайловича. На другой же день узнал он о внезапной его болезни (разрыв легочной артерии) и поспешил к Анне Григорьевне в сильнейшем беспокойстве о том, не вчерашние ли объяснения повредили Федору Михайловичу. К успокоению своему, О. Ф. Миллер узнал, что, вслед за тем, Федор Михайлович был действительно сильно взволнован другим совсем посещением. Вызвавшись съездить сейчас же за профессором Кошлаковым, О. Ф. Миллер отправился к нему снова в среду узнать его мнение о болезни Федора Михайловича. Профессор Кошлаков далеко не терял надежду на выздоровление больного, но когда несколько часов спустя О. Ф. Миллер отправился на квартиру к Федору Михайловичу, то к ужасу своему узнал, что его только что не стало. Сильный припадок обыкновенной его болезни сразу сокрушил давно надломленный организм.

Последние 9 лет своей жизни Федор Михайлович страдал эмфиземой вследствие катара дыхательных путей. Смертельный исход болезни произошел от разрыва легочной артерии и был случайностию, которой никто из докторов не предвидел. Предсмертная болезнь началась в ночь с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Федор Михайлович не обратил никакого внимания. 26 января он был, по-видимому, совершенно здоров, но хотел посоветоваться с докторами насчет кровотечения. В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом. Тотчас привезли всегдашнего доктора Федора Михайловича, Якова Богдановича Фон-Бретцеля. Уже при нем, часа через полтора после первого кровотечения, произошло второе, более сильное, причем больной потерял сознание. Когда он пришел в себя, то тотчас пожелал исповедаться и причаститься. До

прихода священника он простился с женой и детьми и благословил их. После причащения почувствовал себя гораздо лучше.

Кроме Фон-Бретцеля был приглашен еще доктор А. А. Пфейфер и потом, как уже сказано, профессор Кошлаков, который был трижды, 26, 27 и 28 января.

Весь день 27 января кровотечение не повторялось, и Федор Михайлович чувствовал себя сравнительно хорошо. Очень заботился он о том, чтобы "Дневник писателя" вышел непременно 31 января. Просил Анну Григорьевну прочесть принесенные корректуры и поправить их. Потом просил читать ему газеты.

28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем опять полила кровь, и Федор Михайлович очень ослабел.

В это время к нему заехал А. Н. Майков и провел у него все предобеденное время, наблюдая и ухаживая за ним вместе с домашними. Разговоров не было, потому что больному было строго запрещено говорить.

Около двух часов ему было, по-видимому, лучше. Часу в пятом А. Н. Майков уехал домой обедать.

Во всю свою жизнь в решительные минуты Федор Михайлович имел обыкновение, по словам Анны Григорьевны, раскрывать наудачу то самое Евангелие, которое было с ним в каторге, и читать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он и тут и дал прочесть жене. Это было: Матф., гл. III, ст. 14: "Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду". Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал: "Ты слышишь — "не удерживай", — значит я умру", — и закрыл книгу. Предчувствие вскоре оправдалось. За два часа до кончины Федор Михайлович просил, чтобы Евангелие было передано его сыну, Феде.

После обеда А. Н. Майков вернулся к больному уже не один, а с женою, и при них, в 6 1/2 часов вечера, случилось последнее кровотечение, за которым следовало беспамятство и агония. Анна Ивановна Майкова сейчас пустилась отыскивать еще доктора и привезла с собой Н. П. Черепнина, которого нашла у одного из его знакомых. Но когда они приехали, уже наступал конец, и Н. П. Черепнину довелось только услышать последние биения сердца Федора Михайловича.

Несколько ранее приехал Б. М. Маркевич, описавший потом печальную минуту смерти (см. "Русский вестник", 1881 г., февраль).

Федор Михайлович скончался в 8 часов 38 минут вечера.

XXIII. ПОХОРОНЫ

Похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда еще не бывало на Руси таких похорон.

Всего яснее покажут дело цифры: в погребальной процессии, при выносе тела из квартиры (Кузнечный переулок, № 5) в церковь Св. Духа, в Невской лавре, было несено

67 венков и пели 15 хоров певчих. 67 венков — это значит 67 различных депутатий, 67 различных обществ и учреждений, пожелавших оказать почести умершему. 15 хоров певчих — значит 15 различных кружков и ведомств, имевших возможность для этого снарядить певчих. Каким образом составила такая громадная манифестация — это составляет немалую загадку. Очевидно, она составила вдруг, без всякой предварительной агитации, без всяких подготовлений, уговоров и распоряжений, потому что никто не ожидал смерти Достоевского, и время между неожиданным известием о ней и похоронами (три дня) было слишком коротко для каких-нибудь обширных приготовлений. Следовательно, почти каждая из 67 депутатий имеет свою особую историю, независимую от других. Свойство и смысл тех побуждений, по которым шли эти депутатии, — вот что важно в высшей степени и о чем трудно говорить с определенностью, для чего требовалось бы больше сведений, чем мы имеем.

Известно, однако, что в разных местах города, в учебных заведениях, в церквях — служились по Достоевском панихиды по собственному желанию преподавателей и духовных лиц. Известно, что лица иных официальных ведомств едва успевали по краткости времени получить надлежащее разрешение для участия в церемонии, и были случаи, что даже обходились без разрешения. Накануне выноса Анне Григорьевне было известно о 8-ми депутатиях, желавших нести венки, и она с радостью думала о таком великом почете, оказываемом покойному мужу. Между тем, к минуте похорон оказалось налицо 72 депутатии. Главная масса провожавших состояла из разнообразнейших классов публики, и очень было заметно множество молодых людей, мужчин и женщин. Характер самой процессии был удивительно ясен. Она была несколько беспорядочна вследствие поспешности, с которою собралась, но без всякой тени волнения, без признаков того возбуждения, которое обнаруживается, когда толпа делает демонстрацию. Это была настоящая похоронная процессия. И такой же спокойный, чистый, грустный характер имели все обряды погребения и те речи, которые были сказаны в церкви и на могиле. Церковь Св. Духа была удивительно красива во время заупокойной обедни. Не только гроб, стоявший на высоком катафалке, был покрыт цветами и венками, но огромные венки подымались еще со всех сторон по сторонам и даже по стенам и давали всему храму особенный вид, необыкновенно прекрасный. Теснота была большая, но, несмотря на то, тишина была вполне благоговейная.

Так просто, спокойно и прилично делу совершились эти похороны, несмотря на то, что по своим размерам они были истинным событием, не меньшим, а даже несравненно большим, чем событие речи о Пушкине. Почести, которые отдавались покойному писателю, вдруг обнаружили, что он имел необычайно широкий круг искренних поклонников, и были изумительны для всех, и для его близких, и для литературной сферы, и даже для самих поклонников, неожиданно увидевших друг друга в таком множестве. В городе поднялись горячие толки и пересуды о значении и причинах этого события. Из людей подозрительных и равнодушных к литературе иные говорили, что публику привлекло больше всего желание почтить бывшего каторжника и таким образом выразить известного рода протест; но из людей, ближе знакомых с движением литературы и более преданных прогрессивным идеям, некоторые судили правильнее. Они огорчались этими знаками сочувствия писателю патриотическому и, по их мнению, ретроградному. Была, наконец, и третья странная категория судей, нашедшая выход из дилеммы в том, что Достоевский есть будто бы изобразитель всего мрака и ужаса русской жизни, что он уже не смеялся над нею, как Гоголь, а плакал.

Разумеется, в огромной толпе, провожавшей покойника, попадались люди, которые могли подать повод к каждому из этих толкований. Но главная масса, составлявшая ядро толпы и менее других расположенная ораторствовать, конечно, руководилась другими

чувствами. Она очевидно хоронила в Достоевском наставника, нравственного учителя, того, кто ей говорил: "Смирись, гордый человек! Потрудишься, праздный человек!" Проповедь любви и мира, с которою он выступил от начала и которая составила его особое направление среди литературы, не всегда отказывавшейся от распространения вражды и от возбуждения всякого рода страстей, — вот главная причина сочувствия к нему. Общество, утомленное пустым и ненавистным брожением, измученное господствующею смутною умов и сердец и жаждущее твердой нравственной опоры, видело в нем одного из руководителей, указывавшего на те пути, где можно и должно искать спасения. Действительно, поклонники чтители в нем человека пострадавшего, но не такого, который в силу этого питал бы какую-нибудь мысль о вражде или мести. Действительно, в нем чтители патриота и консерватора; но он был для многих отрадным явлением не потому, что как-нибудь бичевал и поражал революционные стремления, грозящие нарушить порядок и наше спокойствие, а потому, что умел сочувствовать самым высоким, чисто духовным интересам русских людей; в его словах обнаруживалось религиозное настроение, преданность учению Христа и православию; он благоговел перед нравственными силами и идеалами народа, не только верил в народ, а любил его, как родную почву, как родных людей; наконец, ему дорого было наше государственное могущество, наше единство и его политические задачи, ради которых издавна и всегда русские люди так много жертвовали и готовы жертвовать. Вот что делало его дорогим для людей, видевших и слышавших каждый день, как оскорбляются словом и делом самые святые для них предметы. Но всего меньше можно принять Достоевского за обличителя, толковать его писания в смысле обличений, — то есть употреблять излюбленный маневр, к которому прибегает наша критика в затруднительных случаях. Такое толкование было бы прямым извращением дела. С самого начала, с "Бедных людей", он выступил с мыслью, которая несравненно выше обличения и отвергает обличение, как слишком узкую точку зрения. Он стал доказывать, что всяким несчастным, всяким "униженным и оскорбленным" нужно сочувствовать не потому лишь, что они терпят страдания, что судьба искажает их, ломает, уродует, а, напротив, потому, что они бывают прекрасны, что в их душах иногда проявляются лучшие человеческие черты, что искра Божия в них не гаснет; следовательно, что нужно не только сожалеть и горевать об них, а нужно их любить. На эту тему он писал от начала до конца; весь мрак и ужас, который он захватил в свои картины, служит ему для того, чтобы показать тот свет, который горит в этом мраке. Обличения в обыкновенном смысле, то есть обличения среды, обстоятельств, строя общества и т. п., тут никак не выйдет; скорее выйдет иногда старинная мысль, что страдание очищает душу, а счастье ее портит. Но во всяком случае выйдет постоянная проповедь любви, постоянный призыв к тому, чтобы мы в забитых, искаженных существах умели видеть и любить своих братьев.

Не нужно забывать притом, что Достоевский умер неожиданно, умер тогда, когда его голос стал раздаваться всего чаще и всего громче. Это была не смерть заслуженного литератора, на покое доживающего свои дни, а смерть журналиста, застигшая его накануне выпуска горячего номера. Популярность его росла в последние годы с удивительною быстротою, и он умер в минуту этого быстрого нарастания. Поэтому пробел, образовавшийся в литературе, был живо всеми почувствован, утрата была явная, поразительная. Его "Дневник" и по своему внутреннему весу и по внешнему влиянию на читателей, конечно, равнялся целому толстому журналу, самому популярному и живому. В последние годы Достоевский приобрел стариковскую уверенность и твердость в писании, выступал с настоящим авторитетным тоном, простым и живым, и поэтому производил могущественное впечатление. Точно так и его романы всегда стояли в первом ряду художественных произведений текущей литературы, были выдающимися ее явлениями. Размеры же всей этой деятельности были необыкновенные; никто еще из наших крупных писателей не писал так много. Поэтому понятно, что для многих

читателей со смертью Достоевского сошла в могилу огромная доля, чуть не половина наличной литературы.

Подумайте сверх того, сколько было людей, для которых эта утрата была незаменима. Достоевский не был просто частью петербургской литературы; скорее он был ее противовесом, контрастом этой литературе. Он и вообще не был поклонником минуты, не плыл по ветру, а всегда был писателем независимым, следовал своим собственным мыслям. Но меньше всего он потворствовал каким-нибудь модным направлениям, хотя бы литературному настроению; напротив, он объявил себя их врагом, он открыто преклонялся перед началами, которые для нашей интеллигенции только "соблазн и безумие". Свою преданность искусству, свою любовь к народным началам, свое отвращение к язвам Европы, свою веру в бессмертие души, свою религиозность, все это он смело и настойчиво проповедовал, и всего смелее и настойчивее в ту минуту, когда его настигла смерть. Итак, не мода, не задние мысли собрали ту огромную толпу, которая шла за его гробом.

В этой толпе особенно важно и полно смысла появление множества молодых людей. Проповедник любви и прощения сделался им дорог потому, что он, жарко нападая на их заблуждения, жалел самих заблуждающихся, умел понимать их и указывать им выход на другую дорогу. Тут были, вероятно, и нераскаянные, но непременно были и кающиеся нигилисты, то есть люди, дающие нам надежду на исцеление от этого великого зла. Что касается до самого покойника, то в нем эта надежда горела постоянно. Он верил, что трудился для начал спасительных, животворных, и радовался своим успехам, и трудился неутомимо. Мне радостно вспомнить, что в последние годы и даже перед самою его смертью я выражал ему свое удивление перед его деятельностью, говорил ему, что он делает чудеса и что нельзя не восхищаться огромными успехами такой прекрасной проповеди. Зная настроение петербургской публики и литературы, я не мог не придавать великого значения той жадности, с которою расхватывался "Дневник писателя". Поэтому похороны хотя очень удивили и меня, но все же не так, как многих других. И я думаю, смысл их более или менее понятен был только тому, кто сохранил в себе следы патриотического и религиозного духа. Этот дух еще силен неизмеримо; он еще проявляется при каждом удобном случае, хотя большею частью чувством, а не мыслию, делом, а не словом. Если же окажется надобность в полном его напряжении, то те, кто не чужд этого духа, хорошо знают, что перед ним ничто не устоит и разлетится, как пустая шелуха, все труды и созидания его противников.

Примечания

- (1) Эти имена потом все стали принадлежать литературе, хотя участие иных было и чрезвычайно малое, даже вовсе незаметное.
- (2) Курсива нет в подлиннике; здесь печатаются курсивом места, которые, по моему мнению, всего яснее выражают главные мысли объявления.
- (3) См. "Эпоха", 1864 г., октябрь. "Воспоминания об Ап. Григорьеве".
- (4) Намек на выражение Григорьева.
- (5) То же.
- (6) Очень глубокие замечания, — истины, которых публика вовсе не подозревает и которых обыкновенно не считают нужным открывать ей журналисты.

(7) Дело идет об одиннадцати письмах Ап. Григорьева из Оренбурга ко мне, письмах, составляющих главное содержание моих "Воспоминаний".

(8) Эти рассуждения о том, как следует вести журнальное дело, очень характерны и для того времени, и для Федора Михайловича, как журнального деятеля.

(9) Такой именно отзыв был когда-то о г. Достоевском, и даже, если не ошибаюсь, в "Современнике". (Примеч. Н. А. Добролюбова.)

(10) То есть на деятелей литературы.

(11) Тутразумеются "Минеральные воды", загородное гулянье, устроенное Излером и долго бывшее единственным и модным.

(12) Евгения Карловна Тиблен, жена Николая Львовича Тиблена, известного издателя шестидесятых годов. Его издания отличались хорошим выбором и имели большой ход; им изданы Маколей, Бокль, Спенсер, Куно-Фишер и т. д. Он был прежде военным и был под Севастополем.

(13) Мы получили эту статью при следующем письме: Милостивый государь Валентин Федорович!

В № 109 "Московских ведомостей" помещена против нас статья, требующая немедленного ответа. В ней нас обвиняют в том, что мы стоим за польский интерес в ущерб русскому. Надо быть крайне несведущим в русской журналистике, чтобы взвести на нас подобное обвинение. Скорее можно обвинить "Время" в ультрарусском народном направлении, и конечно уж в польском вопросе "Время" не станет противоречить своей трехлетней деятельности.

Так как статья "Московских ведомостей" требует немедленного ответа, а следующий № "Времени" выйдет еще через несколько дней, то Вы меня премного обяжете, поместив мой ответ в Вашей газете.

Примите, милостивый государь, уверение в моем искреннем к Вам уважении. М. Достоевский". (Примеч. ред. "С.-Петербургских ведомостей".)

(14) Слова в кавычках — из "Рокового вопроса".

(15) Вот отрывок из моего письма к Федору Михайловичу за границу от 18 сентября 1863 г.: "Вероятно вы читали ("Revue des deux Mondes", 1 Аоыт), ссылку на мою статью, которая приписана вам. Статейка Мазада дурно написана, но в ней есть доля правды. Я слышал от приезжих из-за границы, что моя статья служила для тамошних русских патриотов орудием против увлечения польским делом, что на нее указывали, как на истинно патриотический взгляд... Это странное известие меня порадовало. Нашлись же понимающие люди!"

(16) Письма свои Федор Михайлович почти без исключения писал очень разборчиво, отчетливо, не пропуская ни одной буквы, ни единого знака препинания. А адрес всегда отличался особенною красотой почерка, полнотою и точностью.

(17) Относится к письму, из которого я привел выше выдержку.

(18) Слова в скобках приписаны после, между строками.

(19) "Якорь" была еженедельная газета, с приложением карикатурного листка "Оса". Издателем был Стелловский, редактором Ап. Григорьев. "Якорь" стал выходить в 1863 г. и существовал года полтора.

(20) В таком духе, как увидим дальше, и было написано объявление.

(21) Эта нескладная фраза отзывается цензурными поправками, о которых у меня сохранилось смутное воспоминание.

(22) Дело идет о первой части "Записок из подполья".

(23) Приведу здесь время цензурных разрешений, как оно помечено на книжках. Мартовская книжка разрешена 23 апреля, майская — 7 июля, июньская — 20 августа, июльская — 19 сентября, августовская — 22 октября, сентябрьская — 22 ноября, октябрьская — 24 октября (!), ноябрьская — 24 декабря, декабрьская — 25 января 1865 года. Эти пометки не могут, однако, точно указывать времени, потому что делались то при начале печатания книжки (на первом ее листе), то при конце (на последнем листе). Беспорядок был так велик, что на октябрьской книжке поставлено: 24 октября, очевидно вместо 24 ноября; на обертке июньской книжки стояло: № 6, июль, и выше: журнал, издаваемый семейством М. М. Достоевского.

(24) Эти указания не точны; они очевидно сделаны по памяти.

(25) Вот подробности, извлеченные из писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне. Федор Михайлович приехал в Москву 23 мая в 10 часов вечера и дорогой узнал о смерти государыни. В вокзале ждали его: Юрьев, Лавров, Н. Аксаков, Барсов и человек 10 других сотрудников "Русской мысли". Звали на ужин, он отказался; остановился в "Лоскутной гостинице", где, как потом оказалось, назначено было бесплатное помещение для депутатов, 25-го мая Федора Михайловича пригласили обедать в "Эрмитаж". На обеде было 22 человека, именно С. А. Юрьев, В. М. Лавров, И. С. Аксаков, Н. Аксаков, Н. Г. Рубинштейн, директор гимназии Поливанов, несколько человек профессоров и т. д. Гостю было сказано шесть речей, некоторые довольно длинные. Говорили — С. А. Юрьев, оба Аксаковы, три профессора, Н. Рубинштейн. Тема была — великое значение гостя как художника "всемирно отзывчивого", как публициста и русского человека. Федор Михайлович отвечал речью, которая была восторженно принята и в которой он свел дело на Пушкина. За обедом получены были две приветственные телеграммы, одна от профессора, выехавшего внезапно из Москвы.

26-го мая Федор Михайлович был на званом вечере и ужине у В. М. Лаврова, который оказался страстным поклонником Федора Михайловича, многие годы питающимся его сочинениями.

(26) Глава эта составлена общими силами очевидцев.

Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. — М., 1990. — Т. 1. — С. 375-532.